



# О.Генри

## Благородный жулик (сборник рассказов)

ФТМ



О. Генри

Благородный жулик

(рассказы из авторского сборника)

Трест, который лопнул

– Трест есть свое самое слабое место, – сказал Джефф Питерс.

– Это напоминает мне, – сказал я, – бессмысленное изречение вроде «Почему существует полисмен?».

– Ну нет, – сказал Джефф, – между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, – это эпиграмма... ось... или, так сказать, квинтэссенция. А значит она, что трест и похож и не похож на яйцо. Когда хочешь расколоть яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить только изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса.

Я шутя спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленой карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование треста. К моему удивлению, он признал за собой этот грех.

– Один-единственный раз, – сказал он. – И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы права на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам – вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополий и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосинной лавчонкой. И все-таки мы прогорели.

– Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия? – спросил я.

– Нет, сэр, все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась с трещинкой, как выразился Альберт Теннисон[1].

Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему, насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов.

Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину паев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал. Все было в порядке. Другая половина паев стоила двести или триста тысяч долларов. Я часто думал потом: кому принадлежал этот рудник?

Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили там вовсе не птицы. Там было две тысячи душ населения, все больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапарраля, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные – картежники, иные – лошадиные барышники, иные – и таких было много – работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные.

Надо сказать, что хотя мы с Энди и непьющие, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами.

На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрязной природой. Птичий Город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползала в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею.

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста.

Проснувшись на следующее утро, Птичий Город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло; весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил не переставая; на северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие две недели еще штук шесть среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди.

Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт спасения утопающих – тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в «Голубую змею». И что же они видят в «Голубой змее»? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этакий восьминогий спрут-эксплуататор, справа у него кольт и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении – три бармена, а на стене вывеска в десять футов длины: «Каждая выпивка – доллар». Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку.

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через две недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попури на ксилофоне.

В Птичьем Городе было около полутора тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста; чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день. Пока не схлынет вода, «Голубая змея» оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество.

К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и ссудной кассой, и понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами.

В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали тысячу триста долларов. По нашему подсчету выходило, что, если Птичий Город останется островом еще две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет.

Энди – того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне.

– Джефф, – говорит он, – я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом «Питерс, Таккер и Сатана». Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что, не так?

– Верно, – говорю я, – выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, – говорю я, – ибо худой жир лучше доброй чахотки.

Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал.

– Вроде как излияние богам, – пояснил он.

Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик – за преуспевание нашего дела. А потом и пошло – он пил за всю промышленность, начиная от Северной тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации шотландских горняков.

– Энди, Энди, – говорю я ему, – это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками.

Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное, этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством: какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно чем кончаются: когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний.

За какой-нибудь час «муха» у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристойен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами.

– Джефф, – говорит он, – ты знаешь, что я такое? Я кратер, живой вулканический кратер.

– Эта гипотеза, – говорю я, – не нуждается ни в каких доказательствах.

– Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клопочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь этакую речь. Когда я выпью, – говорит Энди, – меня всегда влечет к ораторскому искусству.

– Нет ничего хуже, – говорю я.

– С самого раннего детства, – продолжает Энди, – алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании Брайана[2] мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше.

– Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, – говорю я, – ступай к реке и поговори, сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, – звали его Кантарид, – который ходил на берег моря и там облегчал свою глотку.

– Нет, – говорит Энди, – мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю – и сенатора Бэвриджа прозовут Юным Сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворт в роскошном переплете с золотым обрезом.

– А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки? – спрашиваю я. – Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?

– Тема любая, – говорит Энди, – для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской иммиграции, или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабийской словесности, или о водосточных трубах, и будь уверен: мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами.

– Ну что ж, Энди, – говорю я ему, – если уж тебе совсем невтерпеж, иди и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подороже и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов.

И вот Энди выходит из «Голубой змеи», и я вижу, как он останавливается на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и десяти минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице Птичьего Города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе[3].

Пробило час, потом два, потом три, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в лавчонку. А между тем

дождик почти перестал.

Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскрести грязь, налипшую на сапоги.

– Милый, – говорю я ему, – что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица.

– Весь город, – отвечает он, – собрался у Сперри, на складах шерсти, и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.

– Вот оно что, – говорю я. – Ну, надеюсь, что он сделает перерыв, sine qua non[4], очень скоро, потому что от этого страдает торговля.

До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салун: он возлежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами.

Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но и на всем земном шаре.

– О чем же он говорил? – спросил я.

– О вреде пьянства, – ответил тот. – И когда он кончил, все жители Птичьего Города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.

Джефф Питерс как персональный магнит

Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.

Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля, жил впроголодь, дружил со всем светом и на последние медяки играл в орлянку с судьбой.

– Попал я однажды в поселок Рыбачья Гора, в Арканзасе, рассказывал он. – На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень с тридцатикаратовым брильянтом, который я получил от одного актера в Тексаркане. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножиком, который я дал ему в обмен на этот перстень.

В то время я был доктор Воф-Ху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья: «Настойки для Воскрешения Больных». Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей Та-ква-ла, супругой вождя племени Чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда – вареной собаки, ежегодно подаваемой во время пляски на Празднестве Кукурузы, – и наткнулась на эту траву.

В городке, где я был перед этим, дела шли неважно: у меня оставалось всего пять долларов. Прибыв на Рыбачью Гору, я пошел в аптеку, и там мне дали займы шесть дюжин

восьмиунцевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с «Настойкой для Воскрешения Больных» дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе.

– Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья.

В тот же вечер я нанял тележку и открыл торговлю на Главной улице. Рыбачья Гора, хоть и называлась Горой, но была расположена в болотистой, малярийной местности; и я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так быстро, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал две дюжины склянок по пятидесяти центов за штуку, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалды. Я знал, что это значит. Быстро спустившись с тележки, я сунул пять долларов в руку субъекту с немецкой серебряной звездой на груди.

– Констебль, – говорю я, – какой прекрасный вечер!

А он спрашивает:

– Имеется ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством? Получили ли вы бумагу от города?

– Нет, не получал, – говорю я, – так как я не знал, что это город. Если мне удастся найти его завтра, я достану себе и патент.

– Ну, а до той поры я вынужден прикрыть вашу торговлю, говорит полисмен.

Я перестал торговать и, вернувшись в гостиницу, рассказал хозяину все, что случилось.

– У нас, на Рыбачьей Горе, вам не дадут развернуться, сказал он. – Ничего у вас не выйдет. Доктор Хескинс – зять мэра, единственный доктор на весь город, и власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозванный целитель отбивал у него практику.

– Да я не занимаюсь медициной, – говорю я. – У меня патент от управления штата на розничную торговлю, а когда с меня требуют особое свидетельство от города я беру его, вот и все.

На следующее утро иду я в канцелярию мэра, но мне говорят, что он еще не приходил, а когда придет, неизвестно. Поэтому доктору Воф-Ху ничего не оставалось, как снова вернуться в гостиницу, грустно усесться в кресло, закурить сигару и ждать.

Немного погодя подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час.

– Половина одиннадцатого, – говорю я, – а вы Энди Таккер. Я знаю некоторые ваши делишки. Ведь это вы создали в Южных штатах «Универсальную посылку Купидон». Погодите-ка, что в ней было. Да, да, обручальный перстень с чилийским брильянтом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капель и портрет Дороти Вернон[5] – все за пятьдесят центов.

Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался тремястами процентов чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути.

Мне нужен был компаньон, мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей Горе, как трудны здесь финансовые операции ввиду вторжения в политику касторки. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела была не блестящи, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс[6]. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо.

На следующее утро в одиннадцать, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром, – он тяжело захворал.

– Я не доктор, – говорю я, – почему вы не позовете доктора?

– Ах, господин, – говорит дядя Том, – доктора Хоскина уехала из города за двадцать миль... в деревню... его вызвали к больному. Он один врач на весь город, а судья Бенкса очень плоха... Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему. Он очень, очень просит.

– Как человек к человеку, я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек человека, – говорю я, кладу к себе в карман флакон «Настойки для Воскрешения Больных» и направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе: мансарда, прекрасная крыша и две чугунные собаки на лужайке.

Мэр Бэнкс в постели; из-под одеяла торчат только бакенбарды да кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что, будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парки. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.

– Доктор, – говорит мэр, – я ужасно болен. Помираю. Не можете ли вы мне помочь?

– Мистер мэр, – говорю я, – я не могу назвать себя подлинным учеником Эс Ку Лаппа. Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто, как человек к человеку, посмотреть, чем я могу помочь.

– Я глубоко признателен вам, – отвечает больной. Доктор Воф-Ху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О господи! Ой, ой, ой! – завопил он вдруг.

Я кланяюсь мистеру Бидлу, подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного.

– Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки.

– Когда вы заболели? – спрашиваю я.

– Меня схватило... ой, ой... вчера вечером, – говорит мэр. – Дайте мне чего-нибудь, доктор, спасите, облегчите меня!

– Мистер Фидл, – говорю я, – приподнимите-ка штору.

– Не Фидл, а Бидл, – поправляет меня молодой человек. А что, дядя Джеймс, – обращается он к судье, – не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?

– Мистер мэр, – говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, – вы схватили серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикордиала.

– Господи боже мой, – застонал он, – нельзя ли что-нибудь втереть, или вправить, или вообще что-нибудь?

Я беру шляпу и направляюсь к двери.

– Куда вы? – кричит мэр. – Не покинете же вы меня одного умирать от этих сверхклавикордов?

– Уж из одного сострадания к ближнему, – говорит Бидл, вы не должны покидать больного, доктор Хоа-Хо...

– Доктор Воф-Ху, – поправляю я и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы.

– Мистер мэр, – говорю я, – вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево.

– Какая же это сила – спрашивает он.

– Пролегомены науки, – говорю я. – Победа разума над сарсапариллой. Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что вам нездоровится. Признайте себя побежденным. Демонстрируйте!

– О каких это параферналиях вы говорите, доктор? спрашивает мэр. – Уж не социалист ли вы?

– Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма.

– И вы можете это проделать, доктор? – спрашивает мэр.

– Я один из Единых Сенедрионов и Явных Монголов Внутреннего Храма, – говорю я. – Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я – медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах в Анн-Арборе покойный председатель Укусно-Горького общества мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с тележки лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой, так как не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой: много ли возьмешь с бедноты!

– Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня? – спрашивает мэр.

– Послушайте, – говорю я, – везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод, если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения.

– Разумеется, – говорит он. – Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли.

– Мой гонорар двести пятьдесят долларов, – говорю я, – излечение гарантирую в два сеанса.

– Хорошо, – говорит мэр, – заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег.

Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор.

– Теперь, – сказал я, – отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов – ничего. Бы не испытываете боли. Признайтесь,

что вы ошиблись, считая себя больным. Ну, а теперь вы, не правда ли, чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас.

– Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче, – говорит мэр. – Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой.

Я сделал еще несколько пассов.

– Ну, – говорю я, – теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Вас клонит ко сну. Ваши глаза слипаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите.

Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать.

– Заметьте, мистер Тидл, – говорю я, – чудеса современной науки.

– Бидл, – говорит он. – Но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пу-Пу?

– Воф-Ху, – говорю я. – Я буду у вас завтра в одиннадцать утра. Когда он проснется, дайте ему восемь капель скипидара и три фунта бифштекса. Всего хорошего.

На следующее утро я пришел в назначенное время.

– Ну, что, мистер Ридл, – сказал я, как только он ввел меня в спальню, – каково самочувствие вашего дядюшки.

– Кажется, ему гораздо лучше, – отвечает молодой человек.

Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились.

– А теперь, – говорю я, – вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей Рыбачьей Горе, мистер мэр, так как никакие средства, известные в корнукопее и употребляемые официальной медициной, не могли бы вас спасти. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль самообман, поговорим о более веселых материях – например, о гонораре в двести пятьдесят долларов. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне.

– Нет, нет, у меня наличные, – говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник; он отсчитывает пять бумажек по пятидесяти долларов и держит их в руке.

– Бидл, – говорит он, – возьмите расписку. Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.

– А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант, – говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый.

Мистер Бидл кладет руку мне на плечо.

– Вы арестованы, доктор Воф-Ху, или, вернее, Питерс, говорит он, – за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.

– Кто вы такой? – спрашиваю я.

– Я вам скажу, кто он такой, – говорит мэ́р, приподнимаясь на кровати как ни в чем не бывало. – Он сыщик, состоящий на службе в Медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в пяти округах и явился ко мне третьего дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан. Ха, ха, ха! Какую болезнь вы нашли у меня? Ха, ха, ха! Во всяком случае не размягчение мозга?

– Сыщик! – говорю я.

– Именно, – отвечает Бидл. – Мне придется сдать вас шерифу.

– Ну, это мы еще посмотрим! – говорю я, хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна. Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги.

– Я свидетельствую, – говорит он, – что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства.

– Ладно, мистер Бидл, – говорит мэ́р, – А теперь, доктор Воф-Ху, – продолжает он, обращаясь ко мне, – почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?

– Пойдемте, сержант, – говорю я с достоинством. – Нечего делать, надо покориться судьбе. – А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю:

– Мистер мэ́р, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она.

И она действительно победила.

Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику:

– А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко...

Что? Ну да, конечно, это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением: так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.

## Развлечения современной деревни

Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа[7]. Но если незаметно заманить его, он попадается. Поэтому я всегда бросаю несколько самых разнообразных наживок, прежде чем удостоверюсь, что он клюнул.

– По моим наблюдениям, – сказал я однажды, – среди фермеров Запада, при всей их зажиточности, снова заметно движение в пользу старых популистских[8] кумиров.

– Уж такой сезон, – сказал Джефф, – всюду заметно движение. Фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками, из деревьев сочится смола, и на реке Конемо начался ледоход. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть немного отклонился от проторенной колеи своих собратьев. Но Энди Таккер

доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился простофилей умрешь», – сказал Энди. «Фермер – это человек, пробившийся в люди наперекор всем политическим баламутам, баллотировкам и балету, – сказал Энди, – и я не знаю, кого бы мы стали надуть, если б его не было на свете».

Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала шестьдесят восемь центов. Было это в желтой сосновой гостинице, в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать; об этом даже страшно подумать, потому что поезд шел мимо деревни так быстро, что из окна вагона нам казалось, будто мы видим салун, а когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала: аптекарский магазин и цистерна с водой.

Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия брильянтов из Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентуккийской границы.

Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи; пахло чем-то вроде азотно-соляной кислоты; что-то тяжелое хлопнулось об пол в нижнем этаже; какой-то мужчина ругнулся.

– Энди, – говорю я, – смотри веселее! Мы ведь попали в деревню. Там внизу кто-то швырнул для пробы фальшивым слитком чистого золота. Пойдем и получим с фермера то, что нам причитается. Обмишулим его, а потом до свидания.

Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз, бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь, обычно мы с Энди занимались делами поважнее, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны, как порой для воротил с Уолл-Стрита бывает полезен даже министр финансов.

Спустившись вниз, мы увидели, что находимся в замечательной земледельческой местности. За две мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей.

– Чей это дом? – спросили мы у нашего хозяина.

– Это, – говорит он, – обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Планкетта, одного из самых передовых наших граждан.

После завтрака мы с Энди, оставшись при восьми центах капитала, принялись составлять гороскоп этого земельного магната.

– Я пойду к нему один, – сказал я. – Мы вдвоем против одного фермера – это было бы слишком много. Это все равно, как если бы Рузвельт пошел на одного медведя с двумя кулаками[9].

– Ладно, – соглашается Энди – Я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски даже по отношению к такому огороднику. Но на какую приманку ты думаешь изловить эту Эзру?

– О, все равно, – говорю я. – Здесь годится всякая приманка, первое, что мне попадетсЯ, когда я суну руку в чемодан. Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога; и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры; и бланки заказов на носилки Мак-Горни, которые потом оказываются косилкой Мак-Кормика; и маленький карманный слиток золота; и жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне, и...

– Довольно, – говорит Энди. – Любая из этих приманок должна подействовать. Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие. Это просто позор для Департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности какими гнусными, дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары, что твоя культура бактерий, выловленных в карете скорой помощи.

Хорошо. Иду я на конюшню и нанимаю двуколку, причем платы вперед с меня не требуют ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу на ступеньках крыльца сидит какой-то франтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке, с брильянтовым перстнем и в кепке для спорта. «Должно быть, дачник», – думаю я про себя.

– Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкетта? – спрашиваю я у субъекта.

– Он перед вами, – отвечает субъект. – А что вам надо?

Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о деревенском «человеке с лопатой». Вот тебе и человек с лопатой! Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести вдребезги Мясной трест при помощи игрушечного ружья.

Он смерил меня глазами и говорит:

– Ну, рассказывайте, чего вы хотите. Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда, мне как раз нужны кирпичи, – а басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют.

Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на руке и говорит:

– Один доллар восемьдесят центов. Идет?

– Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже, – сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман.

– Не хотите – не надо, я просто хотел купить его для коллекции, которую я стал составлять, – говорит фермер. Не дальше как на прошлой неделе я купил один хороший экземпляр. Просили за него пять тысяч долларов, а уступили за два доллара и десять центов.

Тут в доме зазвонил телефон.

– Войдите, красавец, в комнату, – говорит фермер. Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка.

Вошли мы в комнату. Мебель, как у бродвейского маклера, дубовые конторки, два телефона, кресла и кушетки, обитые испанским сафьяном, картины, писанные масляной краской, в позолоченных рамах, а рамы в ширину не меньше фута, а в уголке – телеграфный аппарат отстукивает новости.

– Алло, алло! – кричит фермер. – Это Риджент-театр? Да, да, с вами говорит Планкетт из имения «Центральная жимолость». Оставьте мне четыре кресла в первом ряду – на пятницу, на вечерний спектакль. Мои. Всегдашние. Да. На пятницу. До свидания.

– Каждые две недели я езжу в Нью-Йорк освежиться, объясняет мне фермер, вешая трубку. –

Вскакиваю в Индианополисе в восемнадцатичасовой экспресс, провожу десять часов среди белой ночи на Бродвее и возвращаюсь домой как раз к тому времени, как куры идут на насест, – через сорок восемь часов. Да, да, первобытный юный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард[10], немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?

– Я как будто замечаю, – говорю я, – некоторое нарушение аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие.

– Верно, красавец, – говорит он. – Недалеко то время, когда та примула, что «желтеет в траве у ручейка», будет казаться нам, деревенщинам, роскошным изданием «Языка цветов» на веленовой бумаге с фронтисписом.

Но тут опять зазвонил телефон.

– Алло, алло! – говорит фермер. – А-а, это Перкинс, из Миллдэйла? Я уже сказал вам, что восемьсот долларов за этого жеребца – слишком большая цена. Что, этот конь при вас? Ладно, покажите его. Отойдите от аппарата. Пустите его рысью по кругу. Быстрее, еще быстрее... Да, да, я слышу. Но еще быстрее... Довольно. Подведите его к телефону. Ближе. Придвиньте его морду к аппарату. Подождите минуту. Нет, мне не нужна эта лошадь. Что? Нет. Я ее и даром не возьму. Она хромая. Кроме того, она с запалом. Прощайте.

– Ну, красавец, – обращается он ко мне, – теперь вы видите, что деревенщина постриглась. Вы обломок далекого прошлого. Да что там, самому Тому Лоусону не пришло бы в голову попытаться застать врасплох современного агрария. Что у нас сегодня? Суббота, четырнадцатое? Ну, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий.

Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка, а у машинки две такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни.

– То, что вы слышите, – объясняет мне фермер, – это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское Бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам. Здесь, на этом столе, лучшие газеты и журналы Америки. А также отрывки из будущих журнальных статей.

Я взял один листок и прочитал: «Корректуры будущих статей. В июле 1909 года журнал „Сентяври“ скажет...» и так далее.

Фермер звонит кому-то, должно быть своему управляющему, и приказывает ему продать джерсейских баранов – пятнадцать голов – по шестьсот долларов; засеять пшеницей девятьсот акров земли и доставить на станцию еще двести бидонов молока для молочного троллейбуса. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа.

– Газовые акции поднялись на два пункта, – говорит он. Очень хорошо.

– А может быть, вас медь интересует? – спрашиваю я.

– Осади назад! – кричит он и поднимает руку. – А не то я позову собаку. Я уже сказал вам, чтобы вы не тратили времени зря. Меня не надуете.

Через несколько минут он говорит:

– Знаете что, красавец, не уйти ли вам из этого дома? Я, конечно, очень рад и все такое, но у

меня спешное дело: я должен написать для одного журнала статью «Химера коммунизма», а потом перед вечером побывать на собрании «Ассоциации для улучшения беговых дорожек». Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю.

Что мне оставалось делать, сэр? Вскочил я в свою тележку, лошадь повернула и привезла меня в наш отель. Я оставил ее у крыльца, сам побежал к Энди. Он у себя в номере, я рассказываю ему о моем свидании с фермером и слово в слово повторяю весь разговор. Я до того обалдел, что сажу и дергаю краешек скатерти, а мыслей у меня никаких.

– Не знаю, что и делать, – говорю я и, чтобы скрыть свой позор, напеваю печальную и глупую песенку.

Энди шагает по комнате взад и вперед и кусает конец своего левого уса, а это всегда означает, что он обмозговывает какой-нибудь план.

– Джефф, – говорит он, наконец. – Я тебе верю; все, что ты сказал мне об этой фильтрованной деревенщине, правда. Но ты меня не убедил. Не может быть, чтобы в нем не осталось ни одной крупички первобытной дури, чтобы он изменил тем задачам, для которых его предназначило само провидение. Скажи, Джефф, ты никогда не замечал во мне особо сильных религиозных наклонностей?

– Как тебе сказать, – говорю я, чтобы не оскорбить его чувств, – я встречал также немало богомольных людей, у которых означенные наклонности изливались наружу в такой микроскопической дозе, что, если потереть их белоснежным платком, платок останется без единого пятнышка.

– Я всю жизнь занимался углубленным изучением природы, начиная с сотворения мира, – говорит Энди, – и свято верую, что каждое творение Господне создано с какой-нибудь высшею целью. Фермеры тоже созданы Богом не зря: предназначение фермеров заключается в том, чтобы кормить, одевать и поить таких джентльменов, как мы. Иначе зачем бы наделил нас Господь мозгами? Я убежден, что манна, которой израильтяне сорок дней питались в пустыне, – не что иное, как фигуральное обозначение фермеров; так оно осталось по сей день. А теперь, – говорит Энди, – я проверю свою теорию: «Раз ты фермер, быть тебе в дураках», несмотря на всю лакировку и другие орнаменты, которыми лжецивилизация наделила его.

– И тоже останешься с носом, – говорю я. – Этот фермер стряхнул с себя всякие путы овчарни. Он забаррикадировался высшими достижениями электричества, образования, литературы и разума.

– Попробую, – говорит Энди. – Существуют законы природы, которых не может изменить даже Бесплатная Доставка на Дом в Сельских Местностях.

Тут Энди удаляется в чуланчик и выходит оттуда в клетчатом костюме; бурые клетки и желтые, и такие большие, как ваша ладонь. Блестящий цилиндр и ярко-красный жилет с синими крапинками. Усы у него были песочного цвета, а теперь, смотрю, они синие, как будто он окунул их в чернила.

– Великий Барнум[11]! – говорю я. – Что это ты так расфуфырился? Точно цирковой фокусник, хоть сейчас на арену.

– Ладно, – отвечает Энди. – Тележка еще у крыльца? Жди меня, я скоро вернусь.

Через два часа Энди входит в комнату и кладет на стол пачку долларов.

– Восемьсот шестьдесят, – говорит он. – Дело было так. Я застал его дома. Он посмотрел на

меня и начал надо мною издеваться. Я не ответил ни слова, но достал скорлупки от грецких орехов и стал катать по столу маленький шарик. Потом, посвистев немного, я сказал старинную формулу:

– Ну, джентльмены, подходите поближе и смотрите на этот маленький шарик. Ведь за это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нету. Отгадайте, где он теперь. Ловкость рук обманывает глаз.

Говорю, а сам смотрю на фермера. У того даже пот на лбу выступил. Он идет, закрывает парадную дверь и смотрит, не отрываясь, на шарик. А потом говорит:

– Ставлю двадцать долларов, что я знаю, под какой скорлупкой спрятана ваша горошина. Вот под этой...

– Дальше рассказывать нечего, – продолжал Энди. – Он имел при себе только восемьсот шестьдесят долларов наличными. Когда я уходил, он проводил меня до ворот. Он крепко пожал мне руку и со слезами на глазах сказал:

– Милый, спасибо тебе; много лет я не испытывал такого блаженства. Твоя игра в скорлупку напомнила мне те счастливые невозвратные годы, когда я еще был не аграрием, а просто-напросто фермером. Всего тебе хорошего.

Тут Джефф Питерс умолк, и я понял, что рассказ его окончен.

– Так вы думаете... – начал я.

– Да, – сказал Джефф, – в этом роде. Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житье-то на ферме скучное; а в скорлупку им приходилось играть и прежде.

Кафедра филантроматематики

– Посмотрите-ка, – сказал я, – вот поистине царственный дар: на образовательные учреждения пожертвовано больше пятидесяти миллионов долларов.

Я просматривал хронику вечерней газеты, а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку.

– По этому случаю, – сказал он, – не грех распечатать новую колоду и устроить вечер хоровой декламации силами студентов филантроматематики.

– Это намек? – спросил я.

– Намек, – сказал Джефф. – Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Таккером занимались филантропией? Было это лет восемь назад в Аризоне. Мы разъезжали в двуконном фургоне по горным ущельям Хила – искали серебро. Нашли – и продали свою заявку в городе Таксоне за двадцать пять тысяч долларов. В банке заплатили нам серебряной монетой – по тысяче долларов в каждом мешке. Нагрузили мы эти мешки в фургон и помчались на восток как безумные. Разум вернулся к нам только тогда, когда мы отмахали миль сто. Двадцать пять тысяч долларов – это кажется сущей безделицей, когда читаешь ежегодный отчет Пенсильванской железной дороги или слушаешь, как актер разглагольствует о своем гонораре; но если ты в любую минуту можешь приподнять парусину фургона и, ткнув сапогом мешок, услышать серебряный звон, ты чувствуешь, как будто ты круглосточный банк в те часы, когда операции в полном разгаре.

На третий день приехали мы в городишко – самый чистенький и аккуратненький, какой когда-либо создавала природа или фирма Рэнд и Мак-Нэлл.[12] Он был расположен у подошвы горы и украшен деревьями, цветами и двумя тысячами приветливых, полусонных жителей. Назывался он Флоресвилль или что-то вроде этого, и природа еще не осквернила его ни железными дорогами, ни блохами, ни туристами из восточных штатов. Внесли мы наши деньги на имя Питерса и Таккера в банк «Эсперанца» и остановились в гостинице «Небесный пейзаж». После ужина сидим и покуриваем; вот тогда-то меня и осенило: почему бы не сделаться нам филантропами? По-моему, эта мысль, рано или поздно, приходит в голову каждому жулику.

Когда человек ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного. И если последить за ним внимательно, можно заметить, что он пытается компенсировать тех же людей, которых еще так недавно очистил до нитки. Возьмем гидростатический случай: предположим, некто А. нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетам и колледжам.

Что же касается В., тот нажил на рабочих, у которых всего богатства – руки да инструмент. Как же ему перекачать некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды?

– Я, – восклицает Б., – сделаю это во имя науки. Я погрешил против рабочего человека, но говорит же старая пословица, что милосердие искупает немало грехов.

И он строит библиотечные здания на восемьдесят миллионов долларов, и единственные, кому от этого польза, – маляры да каменщики, работающие у него на стройке.

– А где же книги? – спрашивают любители чтения.

– А я почему знаю! – отвечает Б. – Я обещал вам библиотеку – пожалуйста, вот, получите. Если б я вам дал подмоченные привилегированные акции стального треста, вы что же, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Идите себе с богом, проваливайте!

Но, как я уже сказал, я и сам из-за такого изобилия денег заболел филантропитом. В первый раз мы с Энди раздобыли такой капитал, что даже приостановились на время и стали размышлять, каким образом он очутился у нас.

– Энди, – говорю я, – люди мы с тобой богатые. Конечно, богатство у нас не громадное, но так как мы скромный народ, то выходит, что мы богаты, как Крысы. И хочется мне подарить что-нибудь человечеству.

Энди отвечает:

– Я тоже не прочь. Чувства у нас с тобой одинаковые. Были мы мазуриками всю свою жизнь и как только не объегоривали несчастную публику. Продавали ей самовоспламеняющиеся воротнички из целлулоида, наводнили всю Джорджию пуговицами с портретами президента Гока Смита, а такого президента и не было. И я бы внес два-три пая в это предприятие по искуплению грехов, но не желаю я бить в цимбалы в Армии спасения или преподавать соплякам Ветхий Завет по системе Бертильона.[13] Куда же нам истратить эти деньги? Устроить бесплатную обжорку для бедных или послать тыщонки две Джорджу Кортелью?[14]

– Ни то ни другое, – говорю я. – У нас слишком много денег, и потому мы не вправе подавать милостыню; а для полного возмещения убытков все равно не хватит капиталов. Так что надо изобрести средний путь.

На следующий день, шатаясь по Флоресвиллю, видим мы: на горке стоит какой-то красный домина, кирпичный и вроде как будто пустой. Спрашиваем у прохожих: что такое? И нам объясняют, что один шахтовладелец лет пятнадцать назад затеял построить себе на этом холме резиденцию. Строил, строил и выстроил, да заглянул в чековую книжку: а у него на покупку мебели осталось два доллара и восемьдесят центов. Вложил он этот капитал в бутылочку виски, взобрался на крышу и вниз головой на то самое место, где теперь почиет в мире.

Посмотрели мы на кирпичное здание, и оба одновременно подумали: набьем-ка мы его электрическими лампочками, фланельками для вытирания перьев, профессорами, поставим на лужайку чугунного пса, статуи Геркулеса и отца Иоанна и откроем лучшее в мире бесплатное учебное заведение.

Потолковали мы об этой идее с самыми именитыми флоресвильскими гражданами; им эта идея понравилась. Нам устраивают шикарный банкет в пожарном сарае – и вот впервые мы появляемся в роли благодетелей человечества, радеющих о просвещении и прогрессе. Энди даже речь говорил – полтора часа, никак не меньше – об орошении в Нижнем Египте, а потом завели граммофон, слушали благочестивую музыку и пили ананасный шербет.

Мы не теряли времени и пустились филантропствовать вовсю. Каждого, кто только мог отличить лестницу от молотка, мы завербовали в рабочие и принялись за ремонт. Оборудовали аудитории и классные комнаты, потом дали телеграмму в Сан-Франциско, чтобы нам прислали вагон школьных парт, мячей для футбола, учебников арифметики, перьев, словарей, профессорских кафедр, аспидных досок, скелетов, губок, двадцать семь непромокаемых мантий и шапочек для студентов старшего курса и вообще всего, что полагается для университетов самого первого сорта. Еженедельные журналы, понятно, напечатали наши портреты, гравированные на меди; а мы тем временем послали телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом и с оплаченной погрузкой шестерых профессоров – одного по английской словесности, одного по самым новейшим мертвым языкам, одного по химии, одного по политической экономии (желателен демократ), одного по логике и одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно живописцем. Банк «Эсперанца» гарантировал жалованье – от восьмисот долларов до восьмисот долларов и пятидесяти центов.

В конце концов все сложилось у нас как следует. Над главным входом была высечена надпись: «Всемирный университет. Попечители и владельцы – Питерс и Таккер». И к первому сентября стали слетаться со всех сторон наши гуси. Сначала прибыли экспрессом из Таксона профессора. Были они почти все молодые, в очках, рыжие, обуреваемые двумя сентиментами: амбиция и голод. Мы с Энди расквартировали их у жителей Флоресвиля и стали поджидать студентов.

Они прибывали пачками. Мы напечатали публикации о нашем университете во всех газетах штата, и нам было приятно, что страна так быстро откликнулась на наш призыв. Двести девятнадцать желторотых юнцов в возрасте от восемнадцати лет до густых волос на подбородке отозвались на трубный глас, зовущий их к бесплатному обучению. Они переделали весь этот город, как старый диван, содрали старую обшивку, разорвали ее по швам, перевернули наизнанку, набили новым волосом, и стал городок – прямо Гарвард.[15]

Маршировали по улицам, носили университетские знамена – цвет ультрамариновый и синий; очень, очень оживился Флоресвиль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы «Небесный пейзаж»; весь город ликовал и веселился.

Понемногу – недели в две – профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы. Приятно быть филантропом – ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров

«Флоресвильской газеты». У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен «Народное просвещение». Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и Маршела П. Уайлдера.

Энди был так же увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью и давай сообщать друг другу свои новые планы – что бы нам еще предпринять для университета.

– Энди, – говорю я ему однажды, – мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов дромадеры.

– А что это такое? – спрашивает Энди.

– А это то, в чем спят, – говорю я. – Есть во всех университетах.

– Понимаю, ты хочешь сказать – пижамы, – говорит Энди.

– Нет, – говорю я, – дромадеры.

Но он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких дромадеров. А я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно, рядами.

Да, сэр, университет имел огромный успех. Флоресвиль процветал: ведь у нас были студенты из пяти штатов. Открылся новый тир, открылась новая ссудная касса, открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню:

Ро, ро, ро,

Цы, цы, цы,

Питерс, Таккер

Молодцы.

Ба, ба, ба,

Ра, ра, ра,

Университету –

Гип, ура!

Славный был народ эти студенты; мы с Энди гордились ими, как родными детьми.

Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке. Я сказал, что, по-моему, тысяч шестнадцать. Но Энди говорит:

– Весь наш баланс восемьсот двадцать один доллар и шестьдесят два цента.

– Как? – реву я. – Неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны конокрадов, эти толстоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег?

– Да, – отвечает Энди. – Именно так.

– Тогда к чертям всякую филантропию, – говорю я.

– Зачем же непременно к чертям? – спрашивает Энди. – Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится.

Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалованья нашим профессорам и вижу в ней новое имя: профессор Джеймс Дарнли Мак-Коркл, по кафедре математики, жалованье сто долларов в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди, как вихрь, влетел ко мне в комнату.

– Что это такое! – кричу я. – Профессор математики за пять тысяч долларов в год? Как это могло произойти? Или он, как вор, влез в окошко и назначил себя сам на эту кафедру?

– Нет, – отвечает Энди, – я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем упустили из виду кафедру математики.

– И хорошо сделали! – кричу я. – У нас только и хватит капитала уплатить ему за две недели, а потом нашей филантропии будет такая же цена, как девятой лунке на поле для гольфа.

– Нечего каркать, увидим, – отвечает Энди. – Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что, если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина; нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантропы, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить, где здесь причина и где следствие.

Я знал, что Энди дока в финансовых вопросах, и оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флоресвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки.

Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик – над конюшней – и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении и, чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту один-два доллара. Там, в заведении, было около пятидесяти наших студентов, они пили пунш и передвигали по столу целые горки

синих и красных фишек всякий раз, как банккомет открывал карту.

– Черт возьми, – сказал я, – эти дятлы, эти безмозглые головы, охочие до бесплатной учености, щеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов.

– Да, – отвечает Энди. – Многие из них – сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы и время на такое недостойное занятие.

На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам. В университете состоялась прощальная вечеринка. Энди прочел лекцию «Современная музыка и доисторическая литература на островах Архипелага». Все профессора говорили нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора Мак-Коркля; но его на вечеринке не оказалось. А мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать сто долларов в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наша.

Студенты уехали вечерним поездом; город опустел. Стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу, увидел, что в номере у Энди горит свет, открыл дверь и вошел.

Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатель игорного дома. Они делили между собой кучу денег, фута в два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по тысяче долларов.

– Правильно! – говорит Энди. – По тридцати одной тысяче в каждой пачке. А, это ты, Джефф. Подходи, подходи. Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, есть такое искусство, которое оказывает благодеяние не только берущему, но и дающему.

– Чудесно, – говорю я. – Ты на этот счет прямо доктор наук.

– Утренним поездом надо нам уезжать, – говорит Энди. – Поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки.

– Чудесно, – говорю я. – Мне недолго собраться... А все же, Энди, я хотел бы познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарнли Мак-Корклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом.

– Это нетрудно, – говорит Энди и обращается к содержателю игорного дома.

– Джим, – говорит он, – познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом.

Рука, которая терзает весь мир

– Многие из наших великих людей, – сказал я (по поводу целого ряда явлений), – признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины.

– Да, – сказал Джефф Питерс. – Мне случилось читать и в истории и в мифологии о Жанне д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл[16], о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше

стряпают, и лучше стирают и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки – все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле.

– А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей... как бы это сказать? специальности...

– Да, – сказал Джефф и энергично кивнул головой, – так может показаться. А на поверку женщина – самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре.

Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на Территории[17], вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным – продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополочет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и, когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому «Питерс и Таккер».

– Джефф, – говорит мне Билл, – ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов.

– Правильно, – говорю я, – и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, говорю, кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, говорю я, – что имеет больше цены для человечества: литература или конские скачки?

– Э-э... гм... ну, разумеется, хорошие лошади... то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, те, конечно, идут впереди, – говорит Билл.

– Вот именно, – говорю я. – А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас два доллара за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно? Можно ли, – говорю я, – назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?

– Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, – говорит Билл. – Мне от тебя нужно одно: чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член республиканской партии с первого мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон, мистер Таккер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными, кроме того – у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать наши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через Белый Вигвам Великого Отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги[18].

Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертона. У Энди была душа художника, и ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались

в Вашингтон.

Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди:

– Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось, но что делать, ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего – прямота. Здесь карты на стол, и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что: давай вручим пятьсот долларов председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным путем, а не убивает все свое время на политические интриги.

Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место: надо действовать через женщину, имеющую связи в сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться; звали ее миссис Эвери; он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах.

На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную.

Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как обратная сторона двадцатидолларовой золотой облигации, глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле.

Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах брильянты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай.

Прошло немного времени, она говорит:

– Ну, мои милые, что же вам надо?

Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить.

– Это дело нетрудное, – отвечает она. – На Западе легко назначать кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от Территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор Снайпер: он и сам оттуда, из Западных штатов. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню.

Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой С.

– Да, говорит, у меня он отмечен звездочкой; это значит: готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. «Пятидесяти пяти лет от роду; состоит во втором браке; вероисповедания пресвитерианского; любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашье жаркое; становится сентиментален после третьей бутылки». Да, да, я уверена, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию.

– Не Баммера, а Хамбла, – говорю я. – Шерифом Соединенных Штатов.

– Ах да, – говорит миссис Эвери. – У меня столько подобных дел, что иногда нетрудно перепутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через четыре дня. Думаю, что к тому времени все будет сделано.

Вернулись мы с Энди в гостиницу. Сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса.

– Женщина высокого ума и при этом красавица – очень редкое явление, Джефф, – говорит он.

– Такое же редкое, – говорю я, – как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис.

– Такая женщина, – говорит Энди, – может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу.

– Едва ли, – возражаю я. – Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распусть слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, – говорю я, женщинам идет так же, как Альджернону Чарльзу Суинберну[19] быть распорядителем на ежегодном балу союза швейников. Мне известно, – говорю я Энди, – что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импрессарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место – либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавэр-Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейке трехмесячный запас корма. «На курорт?» – спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур, – говорит она, – в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть Чрезвычайным Лизоблюдом при дворе Сент-Бриджет или Главным Портье острова Порто-Рико. Подожди, я выхлопочу тебе это место».

– И вот эта леди, – говорю я Энди, – вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия пять десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было пятнадцать лет; рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечного цвета.

– И что же дальше? – продолжаю я. – Она помещает письма в вечерних газетах, таких же желто-розовых, как ее туалет, она читает лекции на званом обеде, устроенном в пальмовом салоне вокзала железной дороги Балтимор-Огайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник министра торговли и труда, первый адъютант Синей комнаты и некий цветной человек (личность установить не удалось) уже ждут ее, и когда она появляется, хватают ее за руки... и за ноги. Они выносят ее на Юго-западную улицу Б.[20] и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это, что она пишет открытки китайскому посланнику – просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине.

– Значит, – говорит Энди, – ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего Билла?

– Нет, не думаю, – отвечаю я. – Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я.

– Ну, это ты врешь, – говорит Энди, – я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам.

В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина, с радостью позволил бы ей вестись всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а

на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: «Уильям Генри Хамбл».

– Вы могли получить эту бумагу еще три дня тому назад, мои миленькие, – сказала она улыбаясь, – Достать ее было очень легко, я только заикнулась, и все было моментально устроено... А теперь до свиданья. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, двоих – консулами, а еще человек десять на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу.

Вручили мы ей пятьсот долларов. Она сунула их в ящик письменного стола не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись.

Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: «Все устроено, готовы бокалы» – и чувствовали себя превосходно.

Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин.

– Ладно, – говорю я. – Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала, в назначенный срок и ничего не перепутала.

Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди – для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом.

В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почтмейстером в Дэд-Сити во Флориде.

На станции Литтл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток, по направлению к Верхнему озеру.

С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.

## Супружество как точная наука

– Вы уже слышали от меня, – сказал Джефф Питерс, – что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин как на соучастников и компаньонов.

– Комплимент заслуженный, – сказал я. – По-моему, у них есть все права называться честнейшим полом.

– А чего им и не быть честными, – сказал Джефф, – на то и мужчины, чтобы жульничать для них либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, покуда и чувства и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подавай им дублера – тяжеловоза мужчину с одышкой и рыжими баками, с пятью ребятами, заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримониальную затею в городишке Каире.

Когда у вас достаточно денег на рекламу – скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла, – открывайте брачную контору. У нас было около шести тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца, – дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси.

Мы составили объявление такого примерно сорта:

«Симпатичная вдова, прекрасной наружности, тридцати двух лет, с капиталом в три тысячи долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом.

Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Каир, штат Иллинойс, на имя Одинокой».

– До сих пор все идет хорошо, – сказал я, когда мы сострипали это литературное произведение. – А теперь – где же мы возьмем эту женщину?

Энди смотрит на меня с холодным раздражением.

– Джефф, – говорит он, – я и не знал, что ты такой реалист в искусстве. Ну на что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопчешь о том, чтобы с них и вправду капала вода? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?

– Слушай, – говорю я, – и запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городского устава и расписания поездов мне удавалось избежать столкновения с полицией, даже когда бумажки в пять долларов и сигары оказывалось недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой – или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам – красивой или безобразной, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе – камера мирового судьи.

Энди задумывается и отменяет свое первоначальное мнение.

– Ладно, – говорит он, – может быть, и в самом деле тут необходима вдова, на случай, если почтовое или судебное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы. Но где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончатся браком?

Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, – который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось, что нам удастся завербовать эту женщину.

До городишка, где она жила, было всего шестьдесят миль, и я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков: она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был не противный, и я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове приличный заработок.

– Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс? спросила она, когда я рассказал ей мои планы.

– Миссис Троттер! – воскликнул я. – Мы с Энди Таккером высчитали, что по крайней мере три тысячи мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя

объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше трех тысяч таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые, жадные руки, – презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство. Мы с Энди, – говорю я, – намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, – говорю я, – мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием Великое Моральное и Милосердное Матримониальное Агентство. Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель?

– Да, да, – отвечает она, – мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих трех тысяч мерзавцев в отдельности, или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом – десятками, дюжинами?

– Ваша должность, миссис Троттер, – говорю я, – будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно, – говорю я, – может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце... В таком случае вам придется потрудиться самой: собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем двадцать пять долларов в неделю, и оплата гостиницы за наш счет.

Услышав это, миссис Троттер сказала:

– Через пять минут я готова. Я только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе: жалование должно мне идти с этой минуты.

И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Таккеру.

– Отлично, – говорит Энди Таккер. – Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю.

Мы пустили наше объявление по всей этой местности. Одного объявления вполне хватило. Сделай мы рекламу пошире, нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой перманент, что хруст жевательной резины дошел бы до самого директора почт и телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер две тысячи долларов. В банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная, и не боялся доверить ей деньги.

Одно это объявление доставило нам уйму работы, по двенадцать часов в сутки мы отвечали на полученные письма.

Поступало их штук сто в день.

Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале.

Большинство из них сообщало, что они сидят, без гроша, не имеют определенных занятий и что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов.

Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Таккера. Каждому сообщали, что его

искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Таккер присовокупляли к сему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме два доллара, каковые деньги и следует приложить к письму.

Теперь вы видите, как прост и красив был наш план. Около девяноста процентов этих благороднейших искателей вдовой руки раздобыли каким-то манером по два доллара и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Конечно, нам пришлось поработать; мы с Энди даже поворчали немного: легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом!

Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама; только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по двести долларов в день.

Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре и я складывал деньги в сигарные ящики: в один ящик по два доллара, в другой – по одному, а Энди насвистывал: «Не для нее венчальный звон», – входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Генсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело правильное и придраться к нему невозможно.

– У вас сегодня что-то очень много писем, – говорит человек.

– Идем, – говорю я и беру шляпу. – Мы вас уже давно поджидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди, когда вы уезжали из Вашингтона?[21]

Я повел его в гостиницу «Ривервью» я познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились две тысячи долларов, положенных на ее имя.

– Как будто все в порядке, – говорит сыщик.

– Да, – говорю я, – и если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас – мы не потребуем двух долларов.

– Спасибо, – отвечал он. – Если бы я был холостой, я бы, пожалуй... Счастливо оставаться, мистер Питерс.

К концу трех месяцев у нас набралось что-то около пяти тысяч долларов, и мы решили, что пора остановиться: отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала, – ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось.

И вот, когда мы веялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалованье за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на две тысячи долларов, которую мы дали ей на временное хранение.

Вхожу к ней в номер. Вижу: она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.

– Ну, ну, – говорю я, – о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас или вы соскучились по дому?

– Нет, мистер Питерс, – отвечает она. – Я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена. Я влюблена в одного человека, влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.

– Так в чем же дело? – говорю я. – Берите его себе на здоровье. Конечно, если ваша любовь взаимная. Испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?

– Да, – отвечает она. – Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему двух тысяч. Его имя Уильям Уилкинсон.

Тут она снова в истерику.

– Миссис Троттер, – говорю я ей – нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы: берите себе эти две тысячи и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше пяти тысяч. Но, – прибавил я, – я должен посоветоваться с Энди Таккером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас.

Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.

– Так я и знал, – говорит Энди. – Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.

– Но, Энди, – говорю я, – горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.

– О, конечно, – говорит Энди. – И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер, я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей: пусть возьмет из банка эти две тысячи долларов, даст их своему избраннику и будет счастлива.

Я вскакиваю и целых пять минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя.

А через два дня мы упаковали свои вещи и приготвились к отъезду из города.

– Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер? – спрашиваю я у него. – Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.

– Боюсь, что это невозможно, – отвечает Энди. – Как бы нам на поезд не опоздать.

Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак, – мы всегда перевозили деньги таким способом, как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам.

– Что это такое? – спрашиваю я.

– Это две тысячи от миссис Троттер.

– Как же они попали к тебе?

– Сама мне дала, – отвечает Энди. – Я целый месяц бывал у нее вечерами... по три раза в неделю...

– Так ты и есть Уильям Уилкинсон? – спрашиваю я.

– Был до вчерашнего дня, – отвечает Энди.

## Стриженный волк

Джефф Питерс был готов спорить со мной без конца, едва только, бывало, зайдет у нас речь, можно ли считать его профессию честной.

– Уж на что мы друзья с Энди Таккером, – говаривал он, – но и в нашей дружбе появлялась очень заметная трещина, – правда, единственная, – когда мы не могли с ним согласиться насчет нравственной природы жульничества. У меня были свои принципы, у Энди свои. Я далеко не всегда одобрял выдвигаемые Энди Таккером проекты о взимании контрибуции с публики, а он, со своей стороны, был уверен, что я слишком часто вмешиваю в коммерческие операции совесть и наношу таким образом нашей фирме немалый ущерб.

Случалось, что в наших спорах мы хватали через край. Однажды в пылу полемики он даже выразился, будто я нисколько не лучше Рокфеллера.

– Энди! – ответил я. – Я знаю, что ты хочешь нанести мне обиду. Но мы с тобою давние приятели, и я не стану обижаться на такие ругательства, о которых ты и сам пожалеешь, когда к тебе вернется хладнокровие. Ведь я еще никогда не подлизывался к судебному приставу.

Однажды, в летнюю пору, мы с Энди решили отдохнуть в Кентуккийских горах, в небольшом городишке Грассдейл. Считалось, что мы скотопромышленники и к тому же солидные почтенные граждане, которые приехали сюда провести отпуск. Жителям Грассдейла мы пришлись по душе, и потому мы решили прекратить военные действия и не морочить их – покуда мы живем в ихнем городе – ни проспектами каучуковой концессии, ни сверканием бразильских брильянтов.

Жили мы в гостинице, и вот однажды приходит к нам самый крупный грассдейлский торговец железною утварью и садится с нами на веранде, чтобы покурить за компанию. Мы еще раньше успели хорошо познакомиться с ним, так как нам случалось не раз наблюдать, как во дворе городского суда он в послеобеденный час играет в железные кольца. У него была отдышка. Был он крикливый и рыжий. Но в общем толстый и такой важный, степенный, что даже глядеть удивительно.

Сначала мы поговорили о разных злободневных новостях, а потом этот Меркисон – у него была такая фамилия – достает из бокового кармана письмо и с таким беззаботно-озабоченным видом дает его нам прочитать.

– Ну, как вам это нравится? – говорит он и смеется. – Послать такое письмо МНЕ!

Мы с Энди сразу же смекнули, в чем дело. Но делаем вид, будто внимательно вчитываемся в каждое слово. Письмо напечатано на машинке – одно из тех старомодных писем, где вам объясняют, каким манером вы можете за одну тысячу долларов получить целых пять, – и притом такими бумажками, что никакой эксперт не отличит их от настоящих. В письме сообщалось, что эти доллары являются оттисками с подлинных клише Государственного казначейства в Вашингтоне, выкраденных тамошним служащим.

– Подумать только, что они смеют с подобными письмами обращаться ко МНЕ!

– Ну, что за беда! – говорит Энди. – Такие письма рассылаются и порядочным людям. Если вы не ответите этим аферистам на первое их письмо, они отстанут. А если откликнетесь,

напишут вам снова и предложат вам принести ваши доллары к ним и совершить полюбовную сделку.

– Но подумать только, что с подобным письмом они посмели обратиться ко МНЕ! – возмущается Меркисон.

Через несколько дней он приходит опять.

– Друзья! – говорит он. – Я знаю, вы люди безукоризненной честности, иначе я не стал бы откровенничать с вами. Знайте: я написал тем мошенникам, просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ: предлагают приехать в Чикаго. В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Дж. Смита. А в Чикаго – встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать. Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мною газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом он узнает, что я – это я, а я узнаю, что он – это он.

– Старая штука, – говорит Энди, зевая. – Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу, в укромный застенок, а там уже поджидает вас мистер Джонс. Они показывают новехонькие, свежие, настоящие деньги – и за каждый ваш доллар продают вам пятерку. Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж. Вы уверены, что доллары тут, в саквояже. А когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточной бумагой.

– Ну нет! Со мною такие штучки не пройдут, – говорит Меркисон. – Не на такого напали! Я не создал бы доходнейшего бизнеса в нашем Грассдейле, если бы у меня не было нужной смекалки. Вы сейчас сказали, мистер Таккер, что они покажут мне настоящие деньги?

– По крайней мере, я сам... то есть я читал в газетах, что эти молодчики поступают именно так.

– Друзья! – говорит Меркисон. – Я решил доказать, что им не удастся объегорить меня. Я возьму две тыщонки, суну их в карманы штанов и проучу аферистов как следует. Стоит только Биллу Меркисону глянуть разок на настоящие деньги, уж он не оторвет от них глаз. За один доллар они предлагают пятерку – ну что ж! – им придется выложить мне чистоганом всю сумму. Для этого я приму свои меры. Нет, Билл Меркисон не такой простофиля. Вот увидите: съезжу в Чикаго и заставлю этого самого Смита выдать мне за тысячу долларов – пять. И поверьте: вода будет теплая.

И я и Энди, мы оба пытаемся вышибить у него из головы этот неудачный финансовый план. Но куда там! Он стоит на своем. «Я, – говорит, – исполню свой гражданский долг и поймаю бандитов в расставленную ими же самими ловушку. Авось это послужит им хорошим уроком!»

Меркисон уходит, а мы с Энди продолжаем сидеть и молча предаемся размышлениям о том, как плачевно заблуждается человеческий ум. В такие размышления мы погружались не раз. Чуть выдастся у нас свободный часок, мы всегда посвящаем его благочестивым попыткам усовершенствовать свою духовную личность при помощи умственных мыслей.

Мы долго и сосредоточенно молчим. Наконец, Энди прерывает молчание.

– Джефф! – говорит он. – Признаюсь, я нередко от всего сердца хотел выбить у тебя лучшие зубы, когда ты, бывало, начнешь жевать свою мочалу о совести в бизнесе. Теперь я прихожу к убеждению, что, пожалуй, я был неправ. Как бы то ни было – в нынешнем случае я с тобою согласен вполне: по-моему, с нашей стороны было бы прямо-таки бессовестно отпустить мистера Меркисона одного, без охраны, для свидания с теми мазуриками. Ведь ему несдобровать, это ясно. Не думаешь ли ты, что мы обязаны вмешаться и предупредить

катастрофу?

Я встаю, крепко жму руку Энди Таккеру и долго трясу ее.

– Энди, – говорю я, – если мне когда-нибудь и приходила в голову сердитая мысль, будто у тебя недоброе сердце, я беру эту мысль назад. Я вижу, что внутри твоей наружности все же есть зернышко добра и любви. Это делает тебе честь. Меня тоже волнует судьба Меркисона. С нашей стороны, – говорю я, – было бы грешно и постыдно, если бы мы не помешали ему ввязаться в это темное дело. Он решил ехать? Ну что же! Поедем и мы вместе с ним и не дадим этим бандитам одурачить его.

Энди вполне разделяет мои опасения, и я с радостью вижу, что он намерен активно вмешаться и положить конец махинациям с подложными долларами.

– Я не причисляю себя к очень набожным людям, – говорю я, – никогда не был ни ханжой, ни фанатиком, но не могу же я безучастно глядеть, как человек, который своей энергией, своим умом, не боясь никакого риска, создал крупное торговое дело, станет жертвой ловких негодяев, угрожающих общественному благу.

– Правильно, Джефф, – говорит Энди. – Если Меркисон заупрямится и все же поедет в Чикаго, мы не отступим от него ни на шаг. Мы обязаны сорвать эту затею. Я, так же как и ты, не потерплю, чтобы этикие деньги были брошены на ветер.

И мы пошли к Меркисону.

– Нет, друзья, – говорит Меркисон. – Я не могу допустить, чтобы сладкогласные песни тех чикагских сирен унеслись на крыльях весенних зефиров. Я либо повытоплю сало из этих блуждающих огоньков, либо прожгу в сковородке дыру. Но, конечно, я буду до смерти рад, если вы поедете со мною. Быть может, мне и вправду будет нужна ваша помощь, когда дело дойдет до того, чтобы уложить в саквояж всю эту гору деньжищ. Да, для меня это будет истинный праздник, если вы согласитесь проехаться вместе со мной.

Меркисон пускает слух по Грассдейлу, будто он уезжает на несколько дней с мистером Питерсом и мистером Таккером посмотреть какие-то железные рудники в Западной Виргинии. Потом телеграфирует Дж. Смит, что в такой-то день он готов влипнуть в его паутину и вот уже вся наша тройка мчится в Чикаго.

В поезде Меркисон увеселяет себя предвкушением забавных событий и приятных воспоминаний.

– В сером костюме, – говорит он. – На юго-западном углу Уобаш-авеню и Озерной улицы... Он роняет газету, а я спрашиваю: теплая ли сегодня вода? Хо-хо-хо!

И Меркисон пять минут заливается неумолкающим хохотом.

Временами, однако, он хмурится, и похоже, что он старается прогнать от себя какие-то мрачные мысли.

– Друзья мои! – говорит он в такие минуты – И за десять тысяч не согласился бы я, чтобы об этом деле узнали у нас в Грассдейле. Это сразу разорило бы меня. Но вы люди благородные, не так ли? И, по-моему, это долг каждого гражданина, – говорит он, – обуздать и проучить тех разбойников, которые занимаются ограблением доверчивой публики. Я покажу им, теплая ли сегодня вода. За каждый доллар – целая пятерка, вот что предлагает Дж. Смит, и ему придется выполнить свое обещание, раз он имеет дело с Биллом Меркисоном.

В Чикаго мы приехали в семь часов вечера. А встреча с тем серым человеком должна была состояться в половине десятого. Мы пообедали в ресторане гостиницы и пошли к Меркисону

в номерок дожидаться условного часа.

– Ну, мои милые, – говорит Меркисон, – давайте раскинем мозгами и обдумаем план, как разбить неприятеля наголову. Что, если в то самое время, как я обмениваюсь сигналами с тем серым субъектом, вы, джентльмены, проходите мимо – о, конечно, случайно, совершенно случайно! – и восклицаете: «Алло, Мерк!» – и удивляетесь неожиданной встрече, и дружески жмете мне руку. Тогда я отвожу этого субъекта в сторонку и сообщаю ему, что вы тоже грассдейлские жители, Дженкинс и Браун, и что у одного из вас бакалейная лавка, а у другого магазин гастроном. Что вы превосходные люди и тоже не прочь попытаться счастья здесь, на чужой стороне. «Что ж, – говорит он, – отлично, зовите и их, если они желают умножить свои капиталы». Ну как вам нравится этот проект?

– Что ты скажешь по этому поводу, Джефф? – спрашивает Энди и смотрит на меня.

– Сейчас, – говорю я, – вы услышите, что я скажу! Я скажу: давайте уладим все это дело сейчас же. Зачем канителиться попусту?

И достаю из кармана мой никелированный револьвер, калибр тридцать восемь, и два раза поворачиваю его барабан.

– Ты, коварный, безнравственный, шкодливый кабан! – говорю я, обращаясь к Меркисону. – Выкладывай-ка на стол свои тысячи. Да пошевеливайся, а не то будет поздно. Сердце у меня мягкое, но порой и оно закипает от праведной злобы. Из-за таких негодяев, как ты, – продолжаю я после того, как он выложил деньги, – на свете существуют суды и темницы. Ты приехал сюда похитить у этих людей их деньги. И разве можно оправдать тебя тем, что они, в свою очередь, собирались ограбить тебя? Нет, любезнейший. Ты в десять раз хуже, чем тот, промышляющий долларами. Дома ты ходишь в церковь и притворяешься почтенным гражданином, а потом тайно ускользаешь в Чикаго, чтобы околпачивать людей, создавших безупречную солидную фирму для борьбы с презренными мерзавцами, в число которых ты сегодня собирался вступить. Откуда ты знаешь, что тот человек не обременен многочисленной голодной семьей, пропитание которой всецело зависит от его деловых операций? Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы заграбастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас, разве существовали бы в нашей стране биржевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас, эти социальные язвы исчезли бы сами собой. Тот человек, который хотел всучить тебе подложные доллары и которого ты сегодня собирался ограбить, – может быть, он много лет трудился, чтобы придать своим пальцам необходимую ловкость и овладеть мастерством? На каждом шагу он рискует и своими деньгами, и свободой, а в иных случаях – жизнью. Ты же приходишь сюда, как святоша, ты вооружен до зубов и своей почтенной репутацией, и секретным почтовым адресом. Если ему удастся заполучить твои денежки, ты вопишь: караул! полиция! Если же счастье на твоей стороне, ему приходится закладывать свой серый костюмчик, чтобы купить себе ужин, – при этом он молчит и не жалуется. Мы с мистером Таккером хорошо раскусили тебя, – говорю я, – и приняли меры, чтобы ты получил по заслугам. Давай сюда деньги, ты, травоядный ханжа!

И я кладу две тысячи во внутренний карман пиджака. Деньги были крупными бумажками – каждая в двадцать долларов.

– А теперь выкладывай часы, – говорю я. – Нет, нет. Я не возьму их... Положи их на стол и сиди неподвижно, покуда они не оттикают час. Тогда можешь встать и идти. Если ты вздумаешь кричать или двинешься с места раньше, мы растрезвоним о тебе всю правду в Грассдейле, а твоя репутация дороже для тебя, чем две тысячи.

После этого мы с Энди уходим.

В поезде Энди очень долго молчит. А потом обращается ко мне:

– Джефф, можно задать тебе один вопрос?

– Два, – говорю я. – Или сорок.

– Вся эта идея пришла тебе в голову еще до того, как мы тронулись в путь с Меркисоном?

– Еще бы! А как же иначе? Ведь и у тебя было на уме то же самое?

Энди опять умолкает и полчаса не произносит ни слова. Видно, на него порою находит затмение, когда он не вполне понимает мою систему гуманности и нравственной гигиены.

– Джефф, – говорит он, – я очень хотел бы, чтобы ты как-нибудь на досуге начертил для меня диаграмму твоей пресловутой совести. А внизу под чертежом – примечания. В иных случаях это было бы мне очень полезно – для справки.

### Совесть в искусстве

– Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Таккера держаться в законных границах благородного жульничества, – сказал мне однажды Джефф Питерс.

Энди не способен к благородству: у него слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания.

Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен – будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий и упорный страх перед полицией[22].

Ну, а у Энди родословное дерево другой породы. Он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой корпорации.

Как-то летом, когда мы обретались на Среднем Западе и промышляли в долине Огайо семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей.

– Джефф, – говорит он, – по-моему, пора нам бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодовитое. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее?

– Что ж, – говорю я, – моя идиосинкразия тебе известна. Я предпочитаю честный, легальный бизнес, такой, как сейчас. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках у моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, – говорю я, – выкладывай, послушаем. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы отказаться, если взамен предложат что-нибудь лучшее.

– Я подумывал, – говорит Энди, – устроить небольшую облаву – так, без собак, без егерей и без особого шума – на обширное стадо американских Мидасов[23], которые в просторечии

зовутся питтсбургскими миллионерами.

– В Нью-Йорке? – спрашиваю я.

– Нет, милейший, – говорит Энди. – В Питтсбурге. Они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывают там изредка и только потому, что от них этого ждут.

Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, – все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе, – люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается над ним за то, что он просаживает уйму денег в этом городе насмешек и снобов. На самом же деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, которые один житель Питтсбурга, стоивший пятнадцать миллионов, составил после того, как прожил десять дней в Нью-Йорке. Вот какова эта запись:

– Вот он, голос Нью-Йорка, – продолжает Энди. – Этот город – сплошной официант. Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой при вешалке. Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить.

Ну, короче говоря, спрятали мы с Энди наши альбомы, и нашу парижскую зелень, и антипириновые порошки в погребе у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы незаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что, когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения.

Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал, что, если я приму деятельное участие в любом бизнесе, какой вздумается ему оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса, так что моя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений и гораздо бодрее пошел на незаконное дело.

– Энди, – говорю я, пробираясь с ним сквозь дым по шлаковой дорожке, которую там называют Смитфилд-стрит, – а ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и герцогами чугунных болванок? Я вовсе не хочу умалять мое умение вести себя в гостинице и мою систему обращения с ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется.

– Если что и помешает нам сблизиться с ними, – говорит Энди, – так только наше хорошее воспитание. Мы для них слишком высокого тона. Здешние миллионеры – простой, добродушный народ, демократы, без всяких претензий. Правда, они грубы, но очень невежливы, и хотя в манерах их не заметно ни лоска, ни учтивости, в глубине души они наглы и дерзки. Почти каждый из них вышел из самых темных низов, и они так и останутся в потемках, куда город не заведет дымоочистителей. Если мы станем держать себя просто, без всяких претензий, не будем избегать салунов да сумеем заявить о себе достаточно громко, как импортная пошлина на стальные рельсы, нам ничего не стоит стать с этими миллионерами на самую короткую ногу.

Ну вот, бродили мы с Энди по городу дня три-четыре, все примеривались. Несколько миллионеров мы уже знали в лицо.

Один из них каждый день проезжал мимо нашей гостиницы, останавливался у ее дверей и требовал, чтобы ему на улицу вынесли кварту шампанского. Лакей выносит ему шампанское, откупоривает, а он берет бутылку и прямо из горлышка. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе.

Однажды вечером Энди не явился к обеду, а пришел лишь около одиннадцати и прямо ко

мне в номер.

– Подцепил одного! – сказал он. – Двенадцать миллионов. Нефть, прокатные заводы, недвижимост, природный газ. Хороший человек, никакого чванства. Все свои богатства нажил за последние пять лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине. В первый раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя Стального треста, что сегодня на Аллэгенском сталепрокатном будет четыре случая самоубийства. Ставка была десять тысяч. По этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его, и каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я согласился, мы пошли на Брильянтовый проспект в ресторан, сели за столик, пили искрящийся мозель, ели рагу из устриц и на закуску яблочные оладьи.

Потом он захотел показать мне свою холостую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в десять комнат прямо над рыбными рядами, а ванная выше этажом. Он сказал, что ему стоило восемнадцать тысяч долларов обставить эту резиденцию, и я ему верю.

В одной комнате картин на сорок тысяч, а в другой разных курьезов и древностей на двадцать. Его фамилия Скаддер, ему сорок пять лет, он учится играть на пианино, и его нефтяной фонтан дает каждый день по пятнадцать тысяч баррелей нефти.

– Что ж, – говорю я, – все это, пожалуй, недурно звучит, но для нас как будто ни к чему. На черта нам его картины? И нефть?

Энди в задумчивости сидит на кровати.

– Нет, – говорит он, – нет, этот человек не просто заурядный мерзавец. Когда он показывал мне свой шкафчик с древностями, лицо у него покраснелось, словно дверца печки, в которой пылает кокс. Он говорит, что если ему удастся провести еще несколько крупных операций, то в сражении с его коллекцией гобеленовое, фарфорово-бисерное собрание Дж П. Моргана покажется не изящнее, чем содержимое страусиного зоба на экране волшебного фонаря.

– А потом он показал мне одну вещицу, – продолжал Энди, ну, это, сразу видно, вещь замечательная. Вырезана из слоновой кости. Он говорит, что ей две тысячи лет. Цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины. Скаддер заглянул в каталог и объяснил все как по-писаному. Один египетский резчик, по имени Хафра, сделал две таких штучки для фараона Рамзеса Второго в какой-то год до рождества Христова. Вторая куда-то пропала, и ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее, но напрасно. Скаддер заплатил за свою две тысячи долларов.

– Ладно, – говорю я, – для меня это пустые слова. Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела, а выходит, что они дают нам уроки по части изящных искусств.

– Ничего, потерпи немного, – благодушно отвечает Энди. Дым еще может рассеяться.

На следующий день рано утром Энди ушел из отеля и воротился только к двенадцати часам. Он пригласит меня к себе в номер, вынул из кармана какой-то сверточек величиной с гусиное яйцо, и, когда распаковал его, там оказалось точно такое же изделие из слоновой кости, как то, которое Энди видел у миллионера вчера.

– Час тому назад, – говорит Энди, – захожу я в одну здешнюю лавчонку, где продается всякая пыльная рухлядь. Там же принимают вещи в заклад. Смотрю – из-под каких-то старинных кинжалов выглядывает вот эта история. Закладчик говорит, что она валяется у него уже несколько лет и что ее завезли сюда арабы, или турки, или другие неверные, которые жили тогда внизу, у реки... Я предложил ему за нее два доллара, но, должно быть, по моим глазам

было видно, что она мне страшно нужна, потому что продавец сказал, что самая малая цифра, о которой он может вести разговор, это триста тридцать пять долларов и что говорить о более мелких цифрах значило бы вырвать кусок хлеба изо рта у его детей. В конце концов я приобрел ее за двадцать пять.

– Джефф, – продолжает Энди, – посмотри. Это и есть та вторая фараонова штучка, о которой говорил мне Скаддер. Они похожи как две капли воды. Я не сомневаюсь, что когда он увидит ее, он заплатит за нее две тысячи с такой же быстротой, с какой он затыкает себе за ворот салфетку перед обедом. И в самом деле, почему бы этой штучке не быть настоящей? Весьма возможно, что ее вырезал тот старый цыган.

– Почему бы и не так? – говорю я. – Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штучку?

На этот счет у Энди был готовый, вполне разработанный план, и вот как мы привели его план в исполнение.

Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в профессора Пикклмана. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму Скаддеру, прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте. Неотесанный мужчина, крикун, весь пропахший коннектикутскими сигарами и нефтью.

– Алло, профессор! – кричит он. – Что вы подельваете?

Я пуце прежнего взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синие очки.

– Сэр, – говорю я. – Вы Корнелиус Т. Скаддер, проживающий в штате Пенсильвания в городе Питтсбург?

– Да, это я! – кричит он. – Давайте выпьем по этому случаю.

– У меня, – говорю я ему, – нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающемуся биз... то, есть искусства. Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса Второго. На ней изображена голова царицы Изиды на фоне цветка лотоса. Таких изображений было изготовлено только два. Одно из них считалось пропавшим. Недавно мне посчастливилось приобрести его в ломб... в одном малоизвестном музее в Вене. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена?

– Черт возьми, профессор! – кричит Скаддер. – Неужели вы нашли его? И вы хотите, чтобы я продал вам свое? Нет, нет! Корнелиусу Скаддеру нет нужды продавать свои коллекции. При вас ли это произведение искусства?

Я показываю безделушку Скаддеру. Он внимательно рассматривает ее.

– Да, да, вы правы, – говорит он. – Это подлинный дубликат моей. Те же завитушки, те же линии. Я вам скажу, что я сделаю. Я не продам, но куплю. Даю вам две тысячи пятьсот за вашу.

– Ну, если вы не продаете, я продам, – говорю я. – И, пожалуйста, бумажки покрупнее. Я не люблю терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию.

Скаддер пишет чек, посылает его вниз, в контору гостиницы, там его меняют, приносят мне деньги. Он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди, в его гостиницу.

Энди шагает по комнате и смотрит на часы.

– Ну? – спрашивает он.

– Две тысячи пятьсот, – говорю я. – Наличными.

– У нас осталось всего одиннадцать минут, – говорит он. – Поезд сейчас отойдет. Бери чемодан – и ходу.

– К чему торопиться? – говорю я ему. – Дело было честное. А если даже наша египетская штучка подделка – это не сию минуту откроется. Для этого нужно время. Скаддер как будто уверен, что она настоящая.

– Она и есть настоящая, – говорит Энди. – Она его собственная. Вчера, когда я обозревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, а я сунул эту штучку в карман. Бери же скорей чемодан и бегом.

– Так зачем же, – говорю я, – ты выдумал, будто нашел вторую у закладчика-антиквара?

– Ох, – отвечает Энди, – из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила... Идем же, идем!

Кто выше?

Мы с Джеффом Питерсом сидели в ресторанчике Провенцано в укромном углу. Перед каждым из нас было блюдо спагетти, и Джефф объяснял мне, что жулики бывают трех сортов.

Каждую зиму он приезжает в Нью-Йорк полакомиться спагетти, посмотреть из глубин своей беличьей шубы, как снуют пароходы по Восточной реке, и заглянуть в одном из магазинов готового платья на Фултон-стрит одеждой, которая сшита в Чикаго. В течение трех остальных времен года его следует искать западнее – поле его деятельности где угодно, от Спокана до Тампо.[24] Своей профессией он гордится и совершенно серьезно защищает ее достоинства с помощью своеобразной этической философии. Профессия его не нова. Он дает надежный, радушный и просторный приют беспокойным и неразумным долларам своих ближних.

В каменной пустыне, куда Джефф ежегодно удаляется на зимний отпуск, он не прочь бывает поболтать о своих многочисленных приключениях, – так в вечернюю пору мальчишка любит свистеть в лесу. Вот почему я отмечаю у себя на календаре время, когда Джефф должен приехать в Нью-Йорк, и открываю у Провенцано переговоры относительно залитого вином столика в углу, между развесистым фикусом и palazzo della что-то такое[25] в раме, на стене.

– Есть два рода жульничества, такие зловерные, – говорил Джефф, – что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых – кража со взломом.

– Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, – сказал я смеясь.

– Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, – сказал Джефф, и мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся некстати.

– Месяца три назад, – сказал Джефф, – мне посчастливилось быть sine qua grata[26] с представителями обеих вышеназванных разновидностей нелегального искусства. Судьба

свела меня одновременно с членом Союза Грабителей и с одним из наших Джон Д. Наполеонов.

– Интересное сочетание, – сказал я зевая, – а я не рассказывал вам, как я на прошлой неделе, на берегу Рамапоса, уложил одним выстрелом утку и суслика?

Я знал, как вытягивать из Джеффа его истории.

– Подождите, сначала я вам расскажу про этих полипов, которые тормозят колеса общественной жизни и отравляют источники честности своим смертоносным взглядом, – сказал Джефф, и в его глазах горело чистое пламя карающей добродетели.

Как я уже рассказывал, три месяца назад я попал в дурную компанию. Это случается с человеком в двух случаях жизни – когда он без гроша и когда он богат.

Бывает, что и в самых законных делах наступает полоса невезения. На одном перекрестке я свернул не туда, куда нужно, и по ошибке попал в городишко Пивайн. Мне не следовало отправляться туда, так как прошедшей весной я уже осаждал этот город и нанес ему большие повреждения. Я продал тамошним жителям на шестьсот долларов молодых фруктовых деревьев – грушевых, сливовых, вишневых, персиковых. С тех пор жители города не переставали глядеть на дорогу, поджидая, не пройду ли я по этой дороге опять. А я, не подозревая ни о чем, еду по главной улице, доезжаю до аптекарского магазина «Хрустальный дворец» и только тогда замечаю, что мы оба попали в засаду – я и мой сивый конек Билл.

Жители Пивайна схватили Билла под уздцы и завели со мной разговор, имеющий ближайшее отношение к теме о фруктовых деревьях. Двое-трое из представителей города просунули мне сквозь проемы жилета постромки и повели меня по своим фруктовым садам. Вся беда была в том, что их деревья не хотели соответствовать тем надписям, которые были начертаны на привязанных к ним дощечках. Большинство из них оказались грушей-дичком и терновником, но были и липы, и небольшие дубки. Единственное дерево, которое сулило принести хоть какой-нибудь плод, был молоденький виргинский тополек, на котором выросло хорошее осиное гнездо и половина старого лифчика.

Жители довели нашу бесплодную прогулку до самой окраины города, потом конфисковали у меня в счет долга все мои деньги и золотые часы, а Билла и тележку оставили у себя в качестве заложников. Они заявили, что в ту самую минуту, как на их терновом кусте вырастут июньские персики, я могу вернуться и получить свои вещи назад. Потом они сняли с меня постромки и ткнули пальцем по направлению к Скалистым горам; и я пустился крупной рысью к непроходимым лесам и полноводным рекам.

Когда я пришел в себя, оказалось, что я шагаю по шпалам железной дороги Арканзас – Техас к какому-то неведомому городу. Жители Пивайна не оставили мне ничего, только немного жевательной резинки, и это спасло мне жизнь. Сел я на груды шпал, откусил кусок резинки и стал собирать свои мысли и силы.

Вдруг мимо проносится скорый товарный поезд; подъехав к городу, он чуть-чуть замедляет ход, и вот из вагона вылетает какой-то черный узел, катится двадцать шагов в туче пыли, а потом встает на ноги и начинает выплевывать полужирный уголь вместе с междометиями. Передо мной оказался молодой человек, круглолицый, одетый для путешествия в спальном купе, а не в товарном вагоне, и с самой веселой улыбкой, какую когда-либо видели на таком грязном лице.

– Выпали? – спрашиваю я.

– Нет, – отвечает он. – Соскочил. Прибыл к месту своего назначения. Какой это город?

– Я еще не посмотрел по карте, – говорю я. – Я и сам прибыл сюда за пять минут до вас. Как, по-вашему, ничего городок?

– Не очень-то мягкий! – отвечает он и ощупывает свою руку. – Как будто здесь, вот это плечо... а впрочем, нет, все в порядке.

Он нагибается, чтобы стряхнуть пыль со штанов, и из кармана у него выскакивает хорошенькая девятивершковая стальная отмычка. Он поднимает ее и глядит на меня с опаской, а потом ухмыляется и протягивает мне руку.

– Брат, – говорит он, – прими мой сердечный привет! Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка по полдоллара за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу и керосин никогда не взорвется?

– Керосин и вправду никогда не взрывается, – отвечаю я. – Взрывается только газ.

Тем не менее я жму ему руку.

– Мое имя Билл Бассет, – говорит он, – и если ты не сочтешь хвастовством мою профессиональную гордость, то я скажу тебе, что сейчас ты имел удовольствие познакомиться с одним из лучших взломщиков, какие когда-либо ступали резиновой подошвой на почву, орошаемую рекой Миссисипи.

Хорошо. Уселись мы с этим Бассетом рядом на шпалы и стали хвастаться друг перед другом, как и подобает художникам, работающим по одной специальности. Оказалось, что и он без гроша, так что мы с ним живо сошлись. Он объяснил мне, почему самый талантливый взломщик бывает по временам принужден путешествовать в товарном вагоне. В Литтл-Роке чуть не выдала его изменница-горничная, и ему пришлось убежать сломя голову.

– Такое уж у меня ремесло, – объяснял мне Билл Бассет. – Для того чтобы оно имело успех, я вынужден обрабатывать плоеные чепчики. Покажи мне домик, где есть ценные вещи и смазливая горничная, и можешь быть уверен, что серебро будет расплавлено и сплавлено, а я буду пить шато да поплевывать в салфетку трюфелями. Полиция же будет уверять, что кражу совершил кто-нибудь из своих, ибо племянник старухи хозяйки преподает закон Божий. Сперва я оказываю некоторое давление на девушку, а потом уже, когда девушка пускает меня в дом, – на замочные скважины при помощи воска. Но эта литтл-рокская горничная подвела меня: она увидела, как я катаюсь на трамвае с другой девицей, и в ту же ночь, когда она должна была впустить меня в дом, заперла дверь на замок. А у меня заготовлены ключи для дверей второго этажа... Да, сэр, она оказалась Далилой.

Из дальнейшего выяснилось, что Билл все же пытался пустить в ход свою отмычку, но девушка разразилась целой руладой бравурных звуков, вроде тех, которые испускают борзятники, и Биллу пришлось перепрыгивать через все заборы по дороге к вокзалу. Багажа у него не было, поэтому его всячески пытались не пустить на вокзал, но он все-таки вскочил в отходивший товарный поезд.

– Ну-с, – сказал Билл Бассет, когда мы обменялись мемуарами о минувших деньках, – а теперь мне охота поесть. Непохоже, чтобы весь город был заперт на французский замок. Что, если мы учиним небольшое злодейство и добудем себе мелочишки на карманные расходы? Ты, вероятно, не догадался захватить с собой какого-нибудь снадобья для ращения волос, или позолоченных часовых цепочек, или других каких-нибудь запрещенных товаров, которые мы могли бы всучить здешним олухам?

– Нет, – говорю я, – все осталось у меня вместе с чемоданом в Пивайне – и серьги с патагонскими брильянтами, и незолотые брошки. Там они останутся, покуда на тополях не вырастут японские сливы и не наводнят собой весь рынок. А рассчитывать на это трудно,

разве что мы пригласим в помощники Лютера Бербанка.[27]

– Ну, что же делать, – отвечает Бассет, – поищем других путей. Может быть, когда стемнеет, я выпрошу у какой-нибудь дамочки шпильку и попробую с помощью этой шпильки взломать сейф Пастушеско-Фермерского банка.

Во время нашей беседы к станции подходит пассажирский поезд. Из вагона выскакивает какой-то мужчина в цилиндре – выскакивает не с той стороны, откуда все люди, а с другой – и бежит вприпрыжку по путям, прямо к нам; маленький, толстенький, длинноносый, с крысиными глазками, но платье на нем дорогое, в руке саквояж, который он несет так осторожно, как будто там яйца или железнодорожные акции. Он прошел мимо нас по шпалам, словно и не заметил, что поблизости город.

– Идем! – говорит Билл и встает с места.

– Куда? – спрашиваю я.

– Как куда? – говорит Билл. – Или ты забыл, что ты в пустыне и что у тебя перед глазами сию минуту просыпалась манна? Или ты не слышишь, как ворон шумит крыльями? Эх ты, Илья-пророк!

Мы догнали незнакомого мужчину на опушке леса, и, так как место было безлюдное, а солнце уже закатилось, никто не видел, как мы остановили его. Билл снял с него цилиндр, погладил его рукавом и снова надел незнакомцу на голову.

– Что это значит, сэр? – спрашивает незнакомец.

– Когда я носил цилиндр, – отвечает Билл, – и испытывал какое-нибудь затруднение, я всегда снимал свой цилиндр и гладил его рукавом. Теперь цилиндра у меня нет, и приходится пользоваться вашим. Я в таком затруднении, что даже не знаю, с чего мне начать, как объяснить вам, по какой причине мы обеспокоили вас, и потому не лучше ли будет, если мы, для первого знакомства, пощупаем ваши карманы.

Билл тщательно обшарил все карманы приезжего, и на лице у него выразилось отвращение.

– Часов и тех нет, – сказал он. – Как же вам не стыдно, вы, истукан алебастровый? Разодет, как первый лакей в ресторане, а денег не больше, чем у какого-нибудь графа. Нет даже мелочи на трамвай. И куда вы девали билет?

Приезжий отвечает, что при нем действительно нет никаких ценных вещей. Но Бассет берет у него из рук саквояж. В саквояже оказываются носки, воротнички и какая-то газетная вырезка. Билл внимательно читает газетную вырезку, а потом протягивает приезжему руку.

– Брат, – говорит он, – прими мой сердечный привет. Позволь принести тебе извинение друзей. Я Билл Бассет, громила. Мистер Питерс, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Альфредом Э. Риксом. Пожмите друг другу руки.

Потом Билл снова обращается к приезжему и говорит:

– Мистер Питерс по своей профессии занимает среднее место между мною и вами в деле преступления и порока. Он всегда дает какой-нибудь товар за те деньги, которые получает. Очень рад познакомиться с вами, мистер Рикс, – с вами и с мистером Питерсом. Это первый раз мне случается присутствовать на таком пленарном заседании Национального Синода Акул, где представлены все три ремесла: грабительство, жульничество и банковое дело. Пожалуйста, мистер Питерс, рассмотрите верительные грамоты мистера Рикса.

В газетной вырезке, которую вручил мне Билл Бассет, этот Рикс был изображен во весь рост.

Газета была чикагская, и каждая строчка заключала проклятия по адресу Рикса. Из нее я усмотрел, что вышеназванный Рикс разделил на участки те области штата Флорида, которые находятся глубоко под водой, и продавал эти участки простодушным людям в своей роскошно обставленной конторе в Чикаго. После того как он собрал что-то около ста тысяч долларов, один из тех проницательных и беспокойных покупателей, которые всегда готовы чинить неприятности (я знал таких, которые проверяли купленные у меня золотые часы – кислотой), – один из этой шайки пройдох совершил по удешевленному тарифу экскурсию на купленный им участок посмотреть, не требуется ли там починить забор, а кстати закупить к Рождеству лимонов для предпраздничной торговли. Он прихватил с собой землемера, чтобы тот установил окончательно границы его участка. Подъезжают они к берегу и видят, что имение «Райская долина», столь прославленное в газетных рекламах, находится на дне озера Окичоби. Участок этого человека был на глубине тридцати шести футов, и, кроме того, аллигаторы и щуки так давно сделали на него заявку, что тягаться с ними было бы трудно.

Естественно, владелец участка вернулся в Чикаго и устроил Альфреду Э. Риксу такую жаркую погоду, какая бывает в те дни, когда бюро погоды предскажет мороз. Рикс пытался отвести обвинение как голословное, однако аллигаторы оставались фактом. Вскоре обо всем этом деле появились статейки в газетах, и Риксу пришлось экстренно бежать из своего дома по пожарной лестнице. Власти успели заявить о чем следует в банк, где он держал свои сбережения, и пришлось ему удирать в чем был, захватив только носки да дюжину крахмальных воротничков сороковой номер. Случайно в бумажнике у него завалился бланк на бесплатный проезд по железной дороге, и с помощью его он доехал до города в пустыне, где и свалился на меня с Биллом Бассетом как Илия Третий, только без всякого ворона.

А между тем Альфред Э. Рикс через несколько минут начинает хныкать, что он голоден, и клятвенно заверяет, что денег у него ни цента даже на приобретение пищи. Пользуясь параболой и силлогизмами, мы могли бы сказать, что мы трое представляли труд, торговлю и капитал. Но когда у торговли нет капитала, операции удаются плохо. А когда у капитала нет денег, тогда начинается полный застой по части бифштексов и лука. Человек с отмычкой понял это.

– Братья-разбойники! – говорит Билл Бассет. – Никогда еще я не покидал своего товарища в беде. Мне сдается, что в том лесочке имеется квартира без мебели. Переселимся туда и будем ждать, чтобы стало темнее.

В роще действительно виднелась пустая лачуга, и мы втроем отправились туда. Наступает вечер, Билл Бассет велит нам сидеть смирно, а сам уходит на полчаса. Вскоре он возвращается, неся с собой ломти хлеба, свиную грудинку и пироги.

– Позаимствовал на ферме, на Уошита-авеню, – объясняет он. – Ешь, пей и веселись.

Взошла полная луна и осветила нашу лачугу. Мы садимся на пол и пируем при лунном освещении. Билл Бассет начинает хвастаться.

– Иногда, – говорит он (а рот у него набит деревенским продуктом), – как подумаю, что вы воображаете, будто ваша профессия выше моей, я прямо выхожу из себя. Ну, скажите, что бы вы делали, если бы я не поставил вас на ноги? Вот хотя бы ты, например, Рикси.

– Я не могу не признать, мистер Бассет, – говорит мистер Рикс, причем его слова звучат невнятно, так как у него полон рот пирогами, – я не могу не признать, что при данных неблагоприятных обстоятельствах я был бы, пожалуй, не в силах создать предприятие, которое улучшило бы положение вещей. Крупные операции, которые я привык проводить, естественно, требуют крупных предварительных расходов. Я...

– Знаю, знаю, Рикси, – перебил его Билл Бассет. – Можешь не продолжать свою речь. Когда

ты начинаешь дело, тебе требуется пятьсот долларов, чтобы нанять блондинку-машинистку и сделать первый взнос за купленную в рассрочку дубовую мебель на все четыре комнаты конторы. И кроме того, тебе нужно еще пятьсот долларов, чтобы напечатать публикации в газетах. И еще тебе нужно ждать две недели, покуда рыбка не начнет клевать. Обращаться к тебе за помощью в трудную минуту – все равно что требовать муниципализации дома, когда жильцы уже задохлись от неочищенного газа. И твое жульничество, братец Питерс, тоже не сразу дает тебе прибыль.

– Ой, ой, ой, – отвечаю я. – Подумаешь, какая фея нашлась. Я что-то не видал, чтобы ты превратил в золото какой-нибудь мусор своим магическим жезлом. Потереть волшебное кольцо, чтобы добыть вот эти жалкие объедки, мог бы любой из нас.

Бассет смеется еще пуще:

– Подождите, мисс Золушка, сейчас за вами приедет карета шестеркой. Может быть, у вас в рукаве имеется какой-нибудь проект для начала?

– Сын мой, – говорю я ему, – я старше тебя на пятнадцать лет и все же еще достаточно молод, чтобы застраховать свою жизнь. Мне и раньше случалось сидеть на мели. Огни города не дальше полумили отсюда. Моим учителем был Монтегью Силвер, величайший из всех жуликов, какой когда-либо торговал незаконною дрянью с тележки. Сейчас по этим улицам шагают целые сотни людей, у которых платья усеяны жирными пятнами. Дай мне газолиновую лампу, коробку с лоскутками материи, а также кусок белого кастильского мыла ценою в два доллара, нарезанный на мелкие...

– А где у тебя два доллара? – прерывает меня Билл Бассет.

Бесполезно было спорить с этим вором.

– Нет, – продолжает он, – оба вы беспомощные младенцы. Капитал закрыл свою контору, и Торговля спустила шторы. Оба вы только и ждете, чтобы явился Труд и привел колеса в движение. Возражений нет? Отлично. Сегодня я покажу вам, что может сделать Билл Бассет.

Он советует мне и Риксу не уходить из лачуги и ждать его возвращения, хотя бы он вернулся на рассвете. После этого он уходит по направлению к городу, и мы слышим, как он весело насвистывает.

Альфред Э. Рикс стаскивает башмаки, снимает пиджак, покрывает свой цилиндр шелковым платочком и растягивается на полу.

– Я попытаюсь погрузиться в дремоту, – пищит он. – День у меня выдался утомительный. Спокойной ночи, милый мистер Питерс.

– Кланяйтесь от меня Морфею, – говорю я. – А я еще немного посижу.

Около двух часов ночи (насколько я мог судить по моим часам, которые остались в Пивайне) возвращается наш труженик, расталкивает Рикса и приглашает нас подвинуться к тому месту лачуги, где луна сияет ярче всего. Потом он раскладывает на полу пять пачек по тысяче долларов каждая и начинает кудахтать над ними, как курица над яйцами.

– Теперь я могу рассказать вам кое-что про этот городишко, – говорит он. – Называется он Рокки-Спрингз, и в нем строится масонский храм, а кандидата в мэры от демократов, скорей всего, посадит в лужу другой кандидат – популист, а жена судьи Таккера болела плевритом, но теперь ей лучше. Пришлось побеседовать на все эти лиллипутские темы, прежде чем получить хоть один сифон из источника сведений, которые мне были нужны. Так вот, в городишке имеется банк под названием «Институт Верного Дровосека и Бережливого

Пахаря». Вчера вечером, когда этот институт закрылся, в нем было двадцать три тысячи долларов, а сегодня утром, когда он откроется, в нем будет всего восемнадцать тысяч – серебряной монетой, вот почему я не принес вам больше. Так-то, Капитал и Торговля. Ну, что вы теперь скажете?

– Мой молодой друг, – говорит Альфред Э. Рикс, воздевая руки горе. – Неужели вы ограбили этот банк? Ай, ай, ай!

– Вряд ли это можно назвать грабежом, – отвечает Бассет. – Грабеж – слишком грубое слово. Вся моя работа была в том, чтобы выяснить, на какой улице находится банк. Город такой тихий, что я, стоя на углу, слышал, как тикает секретный механизм сейфа: «Вправо на сорок пять; влево два раза на восемьдесят; вправо на шестьдесят; влево на пятнадцать» – так явственно, словно это капитан университетской футбольной команды отдает распоряжения своим молодцам. Но, дети, – говорит Бассет, – в этом городе встают рано. Еще до зари все жители на ногах. Я спрашивал их, почему они не спят дольше, они объяснили, что к этому времени у них готов завтрак. Ну а теперь не пора ли сматывать удочки? Ансамбль распадается. Я готов финансировать вас. Сколько вам нужно? Говори ты, Капитал.

– Мой юный и милый друг, – говорит этот суслик Альфред Э. Рикс, встав на задние лапки, а передними подбрасывая орешки, – у меня есть друзья в Денвере, которые готовы мне помочь. Если бы у меня было сто долларов, я бы...

Бассет развязывает пачку денег и швыряет Риксу пять бумажек по двадцать долларов.

– А тебе, Торговля, сколько надо? – говорит он, обращаясь ко мне.

– Спрячь свои деньги, Труд, – говорю я, – я никогда еще не эксплуатировал честного труженика. Доллары, которые я добываю, всегда принадлежат простофилям и олухам. Им они не нужны и только жгут им карманы. Когда я стою на улице и продаю за три доллара какому-нибудь щенку массивное золотое кольцо с брильянтом, я зарабатываю на этом деле два доллара и шестьдесят центов. Ну, а он? Разве я не знаю, что он хочет подарить его какой-нибудь девушке и получить от нее столько, будто кольцо стоит не меньше ста двадцати пяти долларов? Чистого дохода у него сто двадцать два. Кто же больше наживается – я или он?

– А когда ты за пятьдесят центов продаешь бедной женщине щепотку песка, чтобы предохранить ее лампу от взрыва, в какую сумму ты исчисляешь ее валовой доход? Песок-то, не забудь, стоит сорок центов тонна.

– Пойми, – сказал я, – я учу ее хорошенько чистить лампу и вовремя подливать керосину. Если она исполнит мой совет, лампа не взорвется. А когда у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботой у нее меньше. Это своего рода «христианская наука» в промышленности. Женщина платит пятьдесят центов и разом ублажает Рокфеллера и миссис Эдди.[28] Это не всякий умеет – одновременно дать заработать этим двум золотым близнецам.

Альфред Э. Рикс чуть не лижет сапоги у Билла Бассета.

– Мой юный, мой милый друг! – говорит он. – Никогда я не забуду вашей щедрости. Награди вас Господь. Но умоляю вас, прекратите свои преступления и вступите на путь добродетели.

– Ах ты, мышь несчастная, – говорит Билл, – прячься в свою норку и помалкивай. Для меня все ваши догмы и принципы все равно что предсмертные слова велосипедного насоса. Что дала вам ваша высоконравственная система грабежа? Нужду и нищету. Даже брат Питерс, которому так нравится осквернять искусство воровства теориями торговли и промышленности, и тот оказался банкротом. Брат Питерс, – обращается он снова ко мне, –

лучше бы ты взял у меня несколько долларов. Сделай одолжение, пожалуйста.

Я снова говорю Биллу Бассету, чтобы он спрятал свои деньги в карман. Я никогда не разделял того уважения к краже со взломом, которое питают к ней некоторые. Я никогда не брал с людей деньги даром, всегда давал им что-нибудь взамен – маленький пустячный сувенир, хотя бы для того, чтобы научить их не попадаться вторично.

Альфред Э. Рикс снова кланяется в ноги Биллу Бассету и желает нам счастливо оставаться. Он говорит, что достанет на какой-нибудь ферме лошадей и доедет до следующей станции, а оттуда поездом в Денвер. Прямо дышать стало легче, когда этот жалкий червяк, наконец, уполз. Не человек, а позор для всякой индустриальной профессии. К чему привели все его грандиозные планы и шикарные конторы? Не мог даже честно заработать себе на хлеб, оказался в долгу у незнакомого и, может быть, беспринципного громилы! Я был рад, что он уходит, хотя мне было жаль его немного, так как я знал, что он человек конченный. Что может сделать такой человек, не имея для начала больших капиталов? Он был беспомощен, как черепаха, опрокинутая на спину. У него не хватило бы хитрости выманить грошовый грифель у маленькой девочки.

Когда я остался с Биллом Бассетом наедине, мне пришла в голову одна комбинация, заключавшая в себе маленькую торговую тайну. Я подумал: покажу я этому громиле, какая разница между трудом и бизнесом. Очень он задел мою профессиональную честь.

– Не нужно мне ваших подарков, мистер Бассет, – сказал я ему, – но если вы оплатите наши расходы по совместному путешествию из опасной зоны, где вы причинили такой безнравственный дефицит финансам этого города, то я буду вам очень признателен.

Билл Бассет согласился, и мы с первым же поездом помчались на запад.

Когда мы прибыли в Аризону, в городок, который называется Лос-Перрос, я предложил Биллу попытаться там счастья. В этом городе жил на покое мой старый учитель Монтегью Силвер. Теперь он удалился от дел, но я знал, что в случае чего он даст мне денег сплести паутину, если увидит, что у меня на примете есть муха, которая жужжит невдалеке. Билл Бассет заявил, что для него все города одинаковы, так как он работает главным образом по ночам. Ну, вот мы и сошли с поезда в Лос-Перросе; прелестный городок, в серебряном районе.

У меня был один изящный коммерческий план, нечто вроде камня на палке, которым я намеревался ударить Билла Бассета прямо в затылок. Я не хотел воровать у него деньги, покуда он спал, но я хотел научить его скромности и взять у него за этот урок те четыре тысячи семьсот пятьдесят пять долларов, которые остались у него, когда мы сошли с поезда. Но едва я намекнул ему о помещении капитала, как он поворачивается ко мне всем туловищем и разгружается от следующих выражений и терминов.

– Братец Питерс, – говорит он, – идея твоя неплоха. Скорее всего, я именно пушусь на какое-нибудь предприятие. И знаешь, что я сделаю, братец Питерс? Я открою игорный домик. Рутинка жульничества меня тяготит. И не желаю я торговать вразнос мутовками или сбывать в цирке питательные мучные препараты под видом опилок. Но игорное дело, – говорит он, – это хороший компромисс между кражей серебряных ложек и продажей вытиралок для перьев на благотворительном базаре в отеле «Уолдорф-Астория».

– Так, значит, мистер Бассет, – говорю я, – вы отказываетесь обсудить мое деловое предложение?

– А разве вы еще не поняли, – говорит он, – что я не курица и тем более не рыба и ждать, пока я клюну, – дело пропащее?

И вот Бассет снял комнату над салуном и стал искать, где бы ему купить мебель и две-три

картинки на стену. В тот же самый вечер я побывал у моего учителя Монти Силвера, и он, познакомившись с моим коммерческим планом, выдал мне заимообразно двести долларов. Во всем городе был только один магазин, где продавались игральные карты. Я пошел туда и скупил все колоды, какие только были в магазине. На следующее утро, чуть только магазин открылся, я принес все колоды назад. Я сказал, что мой компаньон передумал и не дает мне денег на открытие игорного дома, так что эти колоды мне не нужны. Хозяин магазина согласился взять их назад за полцены.

Да, да, да, на этой комбинации я потерял семьдесят пять долларов. Но карты недаром пролежали у меня всю ночь. Всю ночь я корпел над ними и ставил крапинки на каждую карту. Это был труд. А потом в дело вмешалась коммерция, и хлеб, который я «отпустил по водам», начал возвращаться ко мне в виде сладких пудингов с винной подливкой.

Конечно, когда у Бассета открылся притон, я первый пришел туда. Бассету пришлось купить те самые колоды, которые были разрисованы мною, потому что других во всем городе не было, а я знал затылок каждой карты гораздо лучше, чем знаю свой собственный, когда парикмахер показывает мне, при помощи двух зеркал, какую он мне сделал прическу.

Когда игра кончилась, у меня оказалось пять тысяч да еще несколько долларов мелочи, а у Билла Бассета только и осталось что Wanderlust[29] да черная кошка, которую он купил на счастье. Когда я уходил, он пожал мне руку.

– Братец Питерс, – сказал он мне, – я не имею призвания к бизнесу. Я создан для черной работы. Когда знаменитый взломщик пробует перековать свою отмычку на безмен, он поступает немудро. А в карты играешь ты ловко, везет тебе, как утопленнику, живи себе с миром, прощай.

И больше я не видел Билла Бассета.

– Ну и как же, Джефф, – сказал я, когда решил, что мой искатель приключений кончил, – надеюсь, вы сэкономили ваши деньги? Как пригодятся они вам, когда вдруг, в один прекрасный день, вы вздумаете переменить вашу жизнь и заняться более регулярной коммерцией.

– О, еще бы! – сказал Джефф с благородными нотами в голосе. – Будьте спокойны, уж я их не потеряю, эти пять тысяч. Я так их припрятал, что люблю.

И он победоносно хлопнул себя по боковому карману.

– Отличные акции золотых рудников. Каждая акция – доллар. Дадут не меньше пятисот процентов прибыли, не облагаются налогом. «Рудник Голубого Крота». Открыт всего месяц назад. Советую и вам вложить туда лишние доллары.

– Иногда, – сказал я, – эти рудники не...

– Нет, это дело солидное, – перебил меня Джефф. – На пятьдесят тысяч долларов руды, гарантировано десять процентов добычи. – Он вынул из кармана продолговатый конверт и положил его передо мной на столик.

– Ношу его повсюду с собой, – пояснил он. – Чтобы банкир не взломал мою кассу и взломщик не попробовал бы вытянуть их шантажом.

Я стал рассматривать акции. Они были очень красивые.

– Ах, это в Колорадо, – сказал я. – Кстати, Джефф, как звали того банкира, которого вы с Биллом встретили возле станции? Который потом уехал в Денвер?

– Эту жабу звали Альфред Э. Рикс, – сказал Джефф.

– Вот оно что, – сказал я. – А председатель вашей акционерной компании расписался на акциях А. Л. Фредерикс. Я думал...

– Покажите! – рявкнул Джефф и вырвал у меня свои бумаги.

Чтобы хоть как-нибудь отвлечь собеседника от тягостных дум, я подозвал лакея и заказал еще одну бутылку барберы. Это было самое меньшее, что я мог сделать при таких обстоятельствах.

Поросычья этика

Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобаш, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга, да еще мозжечок в придачу.

Профессия Джеффа – небеззаконное жульничество. Вдовам и сиротам не следует бояться его: он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрелкнуть двумя-тремя завалящими долларами. На его разговорные способности хорошо влияет табак; зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар «брэва» узнал историю его последнего приключения.

– Самое трудное в нашем деле, – сказал Джефф, – это найти добросовестного, надежного, безупречно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями.

Поэтому прошлым летом решил я отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом.

Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слышали о конфискации Адамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и убивая гадюк. Городок назывался Маунт-Нэбо и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Виргиния и Северная Каролина. Что, эти штаты не граничат друг с другом? Ну, в общем был расположен где-то там, поблизости.

Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву.

– Джентльмены, – говорю я (после того, как мы уже достаточно потерлись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками), – джентльмены, мне кажется, что вы самое безгрешное племя на всей земле: вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры, все мужчины честны и настойчивы, и потому жизнь здесь прямо-таки идеальная.

– Да, мистер Питерс, – говорит хозяин лавчонки, правильно вы говорите: мы благородные, неподвижные, заплесневелые люди, лучше нас во всей этой местности нет, но вы не знаете Руфа Татама.

– Вот, вот, – подхватывает городской констебль, – он не знает Руфа Татама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от

виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, к которому он был приговорен за убийство Янса Гудло. Но ничего: лишние два-три дня ему не повредят.

– Что вы говорите! – воскликнул я. – Да не может этого быть! Неужели у вас в Маунт-Нэбо, есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать: убийца!

– Хуже! – говорит хозяин лавки. – Он ворует свиней.

Я решил разыскать этого мистера Татама. Через два-три дня после того как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор.

Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции, и Руф Татам был прямо-таки рожден для той роли, которая была намечена мной для него.

Рост у него был гигантский, глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Великом Каньоне», написанную американским художником повешенную в американской гостиной для прикрытия дыры на обоях. Это было воплощение Деревенского Простофили, это было совершенство.

Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас.

– Оставим в стороне смертоубийство, – сказал я. – Это дело пустяковое и мелкое. Сделали ли вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы могли бы указать – с гордостью или без гордости, – дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?

– Как? – говорит он и растягивает по южному каждое слово. – Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегорье нет ни одного человека, ни белого, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума, не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за корыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, – продолжает этот благородный опустошитель свинарников, – что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинокрадства.

– Честолюбие похвальная черта, – говорю я, – и здесь, в глуши, свинокрадство – почтенная профессия; но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитала у меня тысяча долларов, и, пользуясь вашей простецкой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций «Прости навек».

И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Нэбо и спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною незаконных делах. Перед тем я два месяца проболтался без дела на Флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов.

Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в девять миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы и держали путь. Но доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала самодельными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я

никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разжиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли две комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым Мисфицким облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд: сукно голубенькое, в зеленую клетку, жилет – цвета дубленой кожи, галстук – пунцовый, а сапоги – самые желтые во всем городе.

Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканые штаны своего родного края. Ну уж и гордился он этим новым костюмом – как дикий Игоротт новым кольцом в носу.

В тот же вечер я направился к цирку и открыл поблизости игру «в скорлупки». Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему: просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги. Рука не поднимается, пальцы бастуют.

Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре.

Тут-то и должен был выступить Руф – рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдаль, я видел: стоит и пялит глаза на афиши, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел.

Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупки без помощника – это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего сорок два доллара прибыли, а рассчитывал я взять у этих мужланов по крайней мере двести. К одиннадцати часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что, должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела.

Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики, вроде тех, какие издает ребенок, объевшийся зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову и, когда она высовывает голову, говорю:

– Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать.

– Сэр, – отвечает она. – Это не мой младенец. Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Татам. И если вы приходите к ней дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку.

Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа, он наливал в жестяную сковородку молока для бурой, среднего возраста, визжащей хавроньи.

– Что же это, Руф? – говорю я. – Вы манкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взяли за старое?

– Не сердитесь, пожалуйста, Джефф, – говорят он. – Имейте снисхождение к моей слабости.

Вы знаете, как я люблю свинокрадство. Это вошло мне в кровь. А сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться.

– Ну что ж! – говорю я. – Может быть, вы и вправду больны клептосвинией. И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловердным, визгливым животным?

– Все дело в том, – говорит он, – что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот эта обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом: только что она прошлась по комнате на задних ногах.

– Ладно, – говорю я. – Я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише.

– Она была голодна, – говорит Руф. – Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите.

Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери «Лексингтонский листок», только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в два столбца: ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ

Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно – живой и невредимой – знаменитую ученую свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли. Дж. Б. Тэпли, управляющий цирком.

Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой.

– Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро вам всем! – сказал я задушевно и ласково. – Так мы уже встали? И свинка завтракает? Что вы думаете с ней делать, мой друг?

– Я упакую ее в корзинку, – говорит Руф, – и пошлю к маме в Маунт-Нэбо. Пусть развлекает ее, пока я не вернусь.

– Славная свинка! – говорю я и щекочу ей спину.

– А вчера вы ругали ее самыми скверными словами, говорит Руф.

– Да, – говорю я, – но сегодня, при утреннем свете, она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней. Но я всегда ложился спать с заходом солнца и не видал ни одной свиньи при свете лампы. Вот что я сделаю, Руф: я дам вам за эту свинью десять долларов.

– Я не хотел бы продавать эту свинку! – говорит он. Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту – нет.

– Почему же не эту? – спрашиваю я и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело.

– Потому, – говорит он, – что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публикой цирка. А может быть, и внукам расскажу. То-то они будут гордиться. Дело было так: там стоят две палатки, соединенные между собою. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму,

сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка: хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее, тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела.

– Свинья не проживет столько лет, – говорю я, – она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее сто долларов.

Руф с изумлением взглянул на меня.

– Свинья не может иметь для вас такую большую ценность, сказал он. – Зачем она вам?

– Видите ли, – сказал я с тонкой улыбкой, – с первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию. Коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Уобаша у меня есть специальное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород – от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее.

– Я, конечно, рад оказать вам услугу, но у меня тоже есть художественная жилка, – отвечает Руф. – По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого человека, – он художник. Свиньи – мое вдохновение. Особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть двести пятьдесят, я и то не продам.

– Нет, послушайте, – говорю я, вытирая пот со лба. – Тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве; и даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним. Иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее пятьсот долларов.

– Джефф, – отвечает этот поросячий эстет, – для меня дело не в деньгах, а в чувстве.

– Семьсот, – говорю я.

– Давайте восемьсот, – говорит он, – и я вырву из сердца чувство.

Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал сорок бумажек по двадцать долларов.

– Я возьму ее к себе в комнату и запру, – говорю я, пусть посидит, пока мы будем завтракать.

Я взял ее за заднюю ногу. Она завизжала, как паровой орган в цирке.

– Дайте-ка мне, – сказал Руф, взял хавронью подмышку, придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца.

С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к Мисфицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как одорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой; мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк.

Я разыскал Джорджа Б. Тэпли в небольшой палатке, у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом, в красной фуфайке и черной

ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди брильянтовой булавкой в четыре карата.

– Вы Джордж Б. Тэпли? – спрашиваю я.

– Готов присягнуть, что я, – отвечает он.

– Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез.

– Выражайтесь точнее, – говорит он. – Что вы привезли? Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола?

– Да нет же, – говорю я. – Я привез вам Беппо, ученую свинку; она у меня в мешке, тут в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои пять тысяч долларов не мелкими, а крупными билетами.

Джордж Б. Тэпли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина.

– Эй, Мак! – кричит Тэпли. – Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?

– С ней? Нет! – отвечает мужчина. – У нее отличный аппетит, как у хористки в час ночи.

– С чего же вы взяли такую нелепицу? – спрашивает Тэпли, обращаясь ко мне. – Скушали на ночь слишком много свиных котлет?

Я вынимаю газету и показываю ему объявление.

– Фальшивка! – говорит он. – Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства, вы видели, с какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак; вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свиданья. Будьте здоровы.

Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Нэду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи – на двадцать футов впереди своего визга.

Потом я заплатил дяде Нэду его пятьдесят центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел, услышать своими ушами – коротко и ясно – обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений.

– Я держал пари, и мне нужны кое-какие подробности, говорю я. – Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой?

– Нет, – отвечает агент. – Он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжерейный цветок.

К обеду я вернулся к миссис Пиви.

– Не оставить ли на огне немного супу для мистера Татама? – спрашивает она.

– Долго вам придется его ждать, – говорю я. – Сохраняя для него горячий суп, вы истощите на топливо все угольные копи и все леса обоих полушарий.

– Итак, вы видите, – заключил свою повесть Джефф Питерс, – как трудно найти надежного и честного партнера.

– Но, – начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос, – правило-то ваше обоюдное. Предложи вы ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы не потеряли бы...

Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны.

– Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя, – сказал он. – То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать – чем, как не этим держится Уолл-Стрит? Там «быки» и «медведи»<sup>[30]</sup>, а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина – разве она не под стать рогам и звериной шкуре?

## Сноски

1

«Трещинка в лютне» – известная фраза из поэмы Альфреда Теннисона «Мерлин».

2

Брайан Уильям (1860–1925) – несколько раз был кандидатом на пост президента; одним из пунктов его программы была неограниченная чеканка серебра и уравнение его с золотом как платежного средства.

3

Питерс имеет в виду рассказанную поэтом Робертом Браунингом легенду про мстительного колдуна-крысолова из Гаммельна, который игрою на дудке заманил всех детей города в пещеру и там погубил.

4

Без которого невозможно (лат.).

5

Дочь английского вельможи, жившая в XVI веке.

6

Курорт, находящийся вдали от моря.

7

Английский романист (1815–1882), написал свыше пятидесяти романов.

8

Популисты – мелкобуржуазная фермерская партия, созданная в 1891 г. и провозгласившая борьбу за некоторые реформы – передачу государству железных дорог и телеграфа, введение подоходного налога, ограничение земельной собственности и др.

9

Президент США Теодор Рузвельт (1858–1919) похвалялся в печати своими охотничьими «подвигами».

10

Американский писатель (1856–1915).

11

Владелец известного в свое время цирка.

12

Американское издательство, выпускавшее путеводители и географические карты.

13

Бертильон Альфонс (1853–1914) – французский криминалист, разработавший технику опознавания преступников по совокупности особых примет.

14

Кортелью Джордж – министр финансов в правительстве Теодора Рузвельта.

15

Старейший из американских университетов: основан в 1636 г.

16

Сварливая жена, персонаж американской юмористики.

17

Так назывались области, еще не включенные официально в границы Соединенных Штатов, но находившиеся в зависимости от них.

18

Великий Отец – на языке Билла – президент республики; Белый Вигвам – Белый дом, где живет президент, самая восточная станция Пенсильванской железной дороги – Вашингтон, столица США.

19

Английский поэт (1837–1909).

20

В Вашингтоне некоторые улицы называются буквами алфавита.

21

Теодор (Тедди) Рузвельт-президент Соединенных Штатов в 1901–1909 гг. Говоря о Рузвельте, Питерс хотел показать, что ему известна профессия посетителя: это сыщик, прибывший из столицы по поручению властей.

22

Новая Англия – группа Северо-Восточных штатов, где жили пуритане, отличавшиеся крайней набожностью.

23

Мидас – в греческой мифологии – фригийский царь, по одной легенде, имевший ослиные уши, которые он скрывал под колпаком, по другой – обладавший властью обращать в золото все, к чему он прикасался.

24

Первый город – в штате Вашингтон, на северо-западе Соединенных Штатов, второй – во Флориде.

25

Картиной, изображающей какой-то итальянский дворец.

26

Джефф хотел употребить латинский дипломатический термин *persona grata* – «желательное лицо».

27

Бербанк Лютер (1849–1926) – знаменитый американский садовод-селекционер.

28

Эдди Мэри – основательница шарлатанского религиозного учения «Христианская наука».

29

Тяга к странствованиям (нем.).

30

Первый город – в штате Вашингтон, на северо-западе Соединенных Штатов, второй – во Флориде.